

10.335/  
1967/2

06085920  
0134110133

# ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

47

10.335



1 9 6 7



ЧЕТВЕРТОМУ ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

=В ГОД СЛАВНОГО ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ РЕДАКЦИЯ

И ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА ШЛОТ ФОРУМУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ПОЖЕЛАНИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ЭПТ ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ

ДОСТИЖЕНИИ СОЗДАНИИ ВЫСОКОИДЕЙНЫХ И ВЫСОКОУДОЖЕСТВЕННЫХ

ПРОИЗВЕДЕНИИ ЭПТ ДОСТОЙНЫХ ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО НАРОДА ТЧК-

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТ-  
ВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ



# ЛИТЕРАТУРНАЯ Грузия

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ  
ГОД ИЗДАНИЯ ОДИННАДЦАТЫЙ

## СОДЕРЖАНИЕ

ПОЛВЕКА ОКТЯБРЯ

ЗАУР БОЛКВАДЗЕ. Есть такая партия! Стихи. Перевод с грузинского Вяч. Кузнецова . . . . .	30
Д. А. ДРАГУНСКИЙ. Победа! . . . . .	66
МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. Прилет от города Ленина . . . . .	74
Фотолетопись Октября . . . . .	68, 69

СЛОВО ДЕЛЕГАТАМ I СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ

ИРАКЛИЙ АБАШИДЗЕ. Память сердца . . . . .	75
САНДРО ШАНШАШВИЛИ. В центре внимания — образ современника . . . . .	78
ДЕМНА ШЕНГЕЛАЯ. Выход на широкую арену . . . . .	81

ПРОЗА

КОНСТАНТИН ЛОРДКИПАНИДЗЕ. Как умер старый рыбак. Рассказ. Авторизованный перевод с грузинского Эм. Фейгина . . . . .	3
НОДАР ДУМБАДЗЕ. Солнечная ночь. Роман. Перевод с грузинского З. Ахвледиани . . . . .	33

ПСЭЗИЯ

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ. Стих мой... Сычи. Тому, кто сложил первый грузинский стих. Сандро Шаншашвили. Перевод с грузинского Н. Тихоньва . . . . .	17
---	----

5

М А Й

1 9 6 7

ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ. Буянит Терек. Память... Что  
 есть жизнь... Оборвется свет... Перевод с грузинского Вл. Лугового . . . . . 61

АННА АХМАТОВА. Стихи разных лет. Многим. Пред  
 сказание. О, знала ль я... Седой венец... И ты ко  
 мне вернулась... И увидел месяц... За ландыше-  
 вый май... Переводы грузинских поэтов — Иосиф  
 Гришавили, Михаил Квливидзе . . . . . 63

КРИТИКА

✓ ГЕОРГИЙ МАРГВЕЛАШВИЛИ. Панорама поэзии . . . . . 87

Г. БЕБУТОВ. О судьбах книг . . . . . 93

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Из архива Георгия Леонидзе

Я вижу этого человека. Статья . . . . . 19

✓ П. ПАВЛЕНКО, О. ФОРШ, Н. ТИХОНОВ, МАРИ-  
 ДЖАН. Ода в зимнее время года. Стихи . . . . . 26

Н. ТИХОНОВ, К. ЧУКОВСКИЙ, Б. ПАСТЕРНАК,  
 Б. ЛИВШИЦ. Письма . . . . . 27

МИХАИЛ СВЕТЛОВ. Неопубликованная речь . . . . . 31

ЛЕО КИACHEЛИ. Песнь Меки . . . . . 85

Фотолетопись дружбы . . . . . 12, 13, 18, 23, 24,  
 29, 30, 56, 57, 60,  
 62, 81, 85, 88

На 3-й стр. обложки — «Освобожден-  
 ный труд». Эскиз стенной росписи. Худ.  
 Р. Тархан-Моурaviн.  
 На 4-й стр. — «Прогулка». Худ. Д. Эри-  
 стави.

Главный редактор **МИХАИЛ МРЕВЛИШВИЛИ**

Редакционная коллегия:

**И. АБАШИДЗЕ, Б. ГАСС (заместитель главного редактора),  
 Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ, М. ЗЛАТКИН, А. КУЗЬМИЧЕВ, В. МАЧАВАРИАНИ,  
 Р. ТВАРАДЗЕ, Э. ФЕЙГИН, Н. ЧАВЧАВАДЗЕ, Д. ШЕНГЕЛАЯ.**

Адрес редакции: Тбилиси, 8. Улица Ленина, 5, телефон 9-06-59.

# Как умер старый рыбак

РАССКАЗ

Авторизованный перевод Эм. Фейгина

Пусть кинжал будет деревянным,  
было б сердце железным.

И вот еще один рассказ Ладо Вашаломидзе. Помню, я записал его в Марьиной роще, незадолго до гибели Ладо на безымянной высоте.

Я возвращался с разведки. Уже светало, когда я подошел к небольшой реке. Она казалась почти неподвижной, и с первого взгляда трудно было определить, в какую сторону течет вода среди густых зарослей камыша.

Надо было разыскать брод, знаю — он где-то тут рядом, но здешние плавни особыми приметам не богаты, куда ни глянешь — серый камыш. А время дорого — ждут меня товарищи на нашем берегу. Побродил я еще немного и махнул рукой: не нашел брод — переплыву. Только я скинул сапоги, как позади хрустнула сухая камышинка. Я обернулся. У самой воды стоял высокий, сутулый старик в длинных солдатских кальсонах и что-то высматривал в подернутой зеленой ряской заводи. Потом старик прошел немного по берегу к чистой воде, нагнулся, плеснул под мышки водицей и, вздрогнув от холодка, бухнулся в реку.

Вскоре его седая голова показалась над водой, и он выкинул на берег серебристую красноперку, затем смахнул с шеи пучок желтоватых водорослей и снова нырнул. На этот раз он довольно долго пробыл под водой и вытащил небольшого соменка. На третий заход у старика не хватило духа — он попытался нырнуть, но его тут же вытолкнуло вверх.

Старик вышел на берег, отжал воду из кальсон и, не разгибая спины, словно деревянный, сел на землю.

— Здравствуй, отец, — сказал я.

Старик нехотя повернул голову и молча поглядел на меня. Видимо, моя крестьянская одежда не обманула его.



— Здравствуй, — ответил старик.

— Они что, на привязи были? — сказал я, кивнув головой на со-  
мёнка.

— Знание все на привязи держит, дорогой товарищ. — Старик  
надел рубашку и глубоко вздохнул.

— А вы черкес? — вдруг спросил он.

— Почему черкес?

— На наших не похожи. А может, грузин?

— Грузин.

— Я сразу угадал. Грузинов я знаю. Там у меня побратим есть.  
Ушанги Гвалиа, может, слышал? Он у вас первейший рыбак.

— Гвалиа? Нет, не знаю, — сказал я, искренне сожалея, что дол-  
жен огорчить человека, с такой радостью вспомнившего своего по-  
брата.

— Видно, не рыбак, потому и не знаешь Ушанги Гвалиа. До войны  
наша артель с ихней соревновалась. Я к нему делегатом на Палеостом-  
ское озеро ездил. Подарок от наших привез — новый закидной невод.  
Дали мне командировку на пять дней, а Ушанги две недели меня в  
своем доме продержал. Бумажку потом с печатью выдал, все честь по  
чести, мол, опытом своим товарищ Василий Жига делился. А зачем  
ему мой опыт, скажи, когда он сам рыбацкий бог. Просто дружба меж-  
ду нами вышла, потому и не отпустил домой. Погуляли мы как следует.  
Вина этого, «изабеллы», выпили не мерянно. Ну и вино! Хитрое, я тебе  
скажу, вино: пока сидишь за столом — пей сколько хочешь и ничего...  
да ведь надо же когда-то встать, а не встанешь. Голова своя, а ноги  
чужие...

— Да, хорошим вином нас бог не обидел, — сказал я.

— Вот только язык у вас трудный. Ушанги все меня учил, как  
по-вашему разговаривать, а я, дурная башка, только два слова запом-  
нил — «Гамарджоба, кацо!».

— Гамарджоба, — сказал я.

Так судьба свела меня в кубанских плавнях с Василием Андрееви-  
чем Жигой из рыбацкого колхоза «Слава». Старик немало потрудился  
на своем веку и незадолго перед войной он, по его словам, вышел в  
полную отставку. На промысел с бригадой он уже не ходил, разве  
только иногда позовут починить снасти или когда старики на «стукач-  
ку» соберутся, его на первую лодку сигнальным посадят, потому что  
примета есть такая — Василий Жига удачу приносит.

«Стукачка», старинный способ ловли рыбы, — забава здешних ры-  
баков. В безлунный сентябрьский вечер десятка два плоскодонка тихо  
отчаливают от берега. В каждой лодке три человека: гребец, факель-  
щик и «стукач» с длинным багром.

Лодки бесшумно окружают заранее выбранное место, и тогда, за-  
ложив два пальца в рот, Василий режет ночную тишину таким разбой-  
ным свистом, что в станице бабы начинают креститься. По этому сиг-  
налу вступает в дело вся ватага: на всех плоскодонках, не жалея глот-  
ток, рыбаки начинают кричать, гикать, свистеть, кто во что горазд, ко-  
лотят баграми по воде, машут факелами — всюю бушуют старики,  
словно им скостили в эту ночь по полсотни лет. Вспугнутая рыба ухо-  
дит вверх по реке, а там ее перехватывают хитро поставленные сети.  
Старики возвращались домой на рассвете. Подоткнув юбки, похваливая  
удачливых добытчиков, женщины выгружали улов, разжигали костры,  
варили уху и первую миску и первую чарку подносили, по доброму  
обычаю, старейшему рыбаку Жиге — за легкую руку, за рыбацкое

счастье. И Василий Андреевич, несмотря на свою отставку, чувствовал себя первым человеком в станице.

Но вот пришло лихолетье. Война. Немцы вошли в станицу под вечер. В ту ночь старик долго не ложился спать. По улице ходили немецкие солдаты, орали песни, смеялись, хлопали калитками в соседних дворах, а Жига все стоял у окошка с приоткрытыми ставнями и прислушивался. К нам? Нет, мимо. К нам? Нет, пронесло. И так почти до рассвета.

На улице стихло. Старик закрыл ставни, не раздеваясь прилег на тахту. Как всегда в последние годы, стонала во сне хворая жена, тикали ходики, и за стеной шумно отрыгала жвачку корова. Эти обыденные звуки немного успокоили Жигу. Он уснул. А когда проснулся и вышел во двор, старуха уже доила под навесом корову. Струйки молока со звоном разбивались о стенки ведра. День начался как всегда, и Василий даже подумал, что у ночного страха глаза велики. Но свое обычное «доброе утро, Аня» он так и не сказал. Язык не повернулся.

Он умылся тут же под навесом, но вытереть лица не успел — хлопнула калитка, и во двор вошел немецкий солдат.

С виду совсем еще мальчишка, тонкошей, с рыжеватым пушком на румяных щеках и с такими спокойными голубыми глазами, что глядя на него можно было подумать — этот черный автомат и непомерно большие сапоги он без спросу взял у отца, чтобы поиграть в солдатики. Немец подошел к столбу и, не сказав ни слова, отвязал корову. Упершись ладонями о колени, Анна с трудом поднялась, отодвинула ведро с молоком и почему-то улыбнулась солдату. Немец так же молча наматал веревку на руку и повел корову за собой.

— Роза, — позвала старуха. Корова тотчас остановилась и повернула голову. Немец дернул веревку. Корова не сдвинулась с места. Немец зашел сбоку и ногой ударил корову в живот. Она повиновалась и пошла к калитке.

— Роза, — крикнула хозяйка. Корова стала, как вкопанная. Старик подумал, что немец сейчас рассердится и начнет избивать корову, и чтобы не видеть этого, зажмурил глаза... Раздались выстрелы.

— ..Разве мог я подумать, что этот выродок Анну мою застрелит. Убил. А еще говорят, что глаза зеркало души. Видел я эти спокойные глаза — до смерти теперь не забуду... И вот остался я один в пустой хате. Одно название, что человек. На птичьих правах живу. Видел — как цапля за рыбой гоняюсь. Все забрали — и лодки, и сети. Пацана с удочкой увидят — тащат в комендатуру. Скоро полгода так живем — на все запрет.

Он говорил глуховатым, бесцветным голосом и, как мне показалось, с каким-то непонятным равнодушием произносил самые страшные слова, не жалуясь, не возмущаясь и даже не удивляясь тому, что такое может произойти на белом свете.

Наверное, большое горе кричать не умеет.

— Слушай, дед, а может, пойдешь со мной? Хочешь, к твоему братиму в Грузию отправим. А? Ну что тебе тут, старому, делать? Немцы здесь крепко засели, похоже, зимовать собираются. Как же ты зимой будешь?

— А так, — сказал старик. — Сон и без подушки возьмет, а голод и камень откусит. Верная пословица — от Ушанги слышал... А насчет немцев я тебе вот что скажу, товарищ. Правда, далеко они зашли... Но я-то здесь — и немец здесь. Мы тут и поспорим.

Он сказал это без всякого бахвальства, не повышая голоса, будто ему было безразлично, поверю я его словам или не поверю.

— В партизаны пойдешь? — прямо спросил я.

— В лес меня не возьмут.

— Что же ты собираешься делать?

— А я тебя, сынок, не спрашиваю, что ты тут делаешь. Ведь так?

— А ты спроси, может, я скажу.

— Мне твои тайны не нужны.

— Наоборот, дед. Ты меня выслушай. Дело серьезное. Помози, если можешь.

Меня не раз предупреждали, что разведчик не должен доверять первому встречному человеку, но я видел: передо мной хороший человек.

Я рассказал ему, что трое суток искал озеро, на котором спрячутся два немецких гидроплана. Осточертели они нам. Стоит только выйти в море нашим самоходным баржам — они тут как тут. Налетят, и сразу куда-то исчезают. По всем расчетам они где-то в ваших озерах скрываются. А где? Сверху не разглядишь, а в этих камышах что хочешь спрятать можно.

— Да, камыш у нас такой, — сказал старик. — Что ж, это я могу. Поищем. Если надо — до самого лимана дойду.

— Тогда давай условимся. Сегодня у нас понедельник. Значит, в воскресенье утром встретимся на этом месте. Ладно?

Старик кивнул головой.

Я связал сапоги и перекинул их через плечо.

— А ты, видно, большой артист, — сказал старик. — Нарядился по-нашему, от станичника никак не отличишь. А вот поясок твой не годится. У нас такие не носят. Смотри, подведет тебя поясок.

— Спасибо, Василий Андреевич, переменею.

Старик заулыбался, видимо, ему доставило немалое удовольствие, что он поймал меня на этой погрешности.

— Ну, иди с богом, не задерживайся, — сказал он.

\* \* \*

Переправляясь через реки и плавни, я, видно, простудился. Ничего у меня не болело, но кашлял так, словно из старой пушки стрелял. С таким кашлем разведчик недалеко уйдет. Воскресная встреча могла не состояться. Пришлось обменять всю недельную порцию водки на два литра молока. Не люблю я эту жидкость, наверное, не пил ее с того дня, как оторвали меня от материнской груди, но что поделаешь, раз надо так надо! Закутался в бурку, обмотал шею шерстяной фуфайкой и принялся глотать теплое молоко. Представь себе, помогло.

В субботу ночью, переодевшись в крестьянскую одежду и сменив пояс, я предстал перед комбатом Геловани. Как и в прошлый раз, комбат проводил меня до катера и, пожимая руку, сказал:

— Привет твоему старику. Ну, до скорой встречи, купец.

Мы благополучно обогнули немецкий сторожевой пост у Бочарного мыса и по извилистым протокам прошли еще километров тридцать. Дальше на катере идти было опасно — нас могли услышать. В глухом заливчике меня высадили. Я договорился с Алёшей Голиковым, который был на катере за старшего, что они придут за мной в понедельник вечером.

Мне предстояло пройти еще около двадцати километров через болота и плавни, и больше всего я боялся, что промочу листовой табак. Пять килограммов этого табака и справку немецкой фельдкомендатуры мне, смеясь, вручил капитан Геловани. А в справке, с подлинной пе-



чатью и подписью, было сказано, что адыгейцу Тагиру Баташеву разрешено менять на хуторах и в станицах табак на картошку и рыбу. Вот почему капитан Геловани назвал меня купцом.

В предрассветных сумерках я вышел на условленное место. Было тихо, безветренно; безмолвно стоял пересохший камыш; в темно-синей воде отчетливо, как в зеркале, отражались пушистые облака.

Все вокруг было таким мирным, спокойным, простым... Такими бывают только деревенские рассветы, пахнущие увядающими травами, остывшей за ночь рекой и, как ни странно, — это у меня с детства осталось — пустыми винными бочками.

Я ждал старика довольно долго и уже решил было, что надо уходить. Видимо, что-то помешало ему прийти.

Я посмотрел на часы — было без четверти восемь. Подожду еще с полчаса. Я отошел немного в сторону и залег за кустом дикого орешника. Ты знаешь, какой у меня слух—сова позавидует, но как подошел старик, я не расслышал. Учили меня бесшумному шагу, но куда мне до него...

— Ты здесь, грузин? — спросил он своим глуховатым голосом. Вот тогда я и увидел его. Он стоял спиной ко мне и, может, потому, что был одет по-зимнему — в стеганный ватник и в суконные брюки, заправленные в высокие рыбацьи сапоги,—он уже не казался таким хилым и беспомощным, как в первую встречу. Это почему-то меня обрадовало.

— Здравствуйте, Василий Андреевич, — сказал я.

Он быстро обернулся и стиснул мне руку обеими руками — так у нас в селах приветствуют только самых близких друзей. Пальцы у него были сухие, сучковатые, как отростки старой лозы.

— Заждался? Не мог я раньше. Да и обрадовать тебя нечем. Ходил я на озера — нет там никаких гидропланов. И людей расспрашивал — никто ничего не знает.

— Ну, что ж, — сказал я, — спасибо за службу, Василий Андреевич. Доложу начальству, будем в другом месте искать.

— Доложи, — сказал старик. — Дело военное... Но я, товарищ мой, должен тебя еще огорчить! Знаешь, почему я задержался? Незванный гость у меня в доме. И думаешь кто? Грузин.

— Кто он, откуда взялся?

— Да он не один. Вся станица полна грузинами.

— Пленных пригнали?

Старик посмотрел на меня как-то очень внимательно и подавленно вздохнул.

— Я же сказал, что огорчу тебя. Не пленные они! Пленными они раньше были. Сейчас они ходят при оружии, в полной немецкой форме, все на них новенькое, с иголочки...

— А вы не ошибаетесь, Василий Андреевич?

— Грузины. Так и называются — Грузинский легион. Вчера утром пришли они на баржах, человек двести в нашей станице разместились, остальные по хуторам. Ко мне староста троих на постой прислал. Посмотрели они на мой дворец, не понравилось и ушли. А вечером один из них вернулся, бросил на тахту вещевой мешок и сказал:

— Не возражаешь, отец?

А что я мог возразить. Сказал только, что дом у меня без хозяйки, неприбранный, сам я старый, ухаживать за господином солдатом некому. А он только рукой махнул.

— Не беспокойся, отец, ничего мне не нужно.

И завалился спать.

Встал я сегодня, слышу, на кухне чайник кипит. Выложил мой постоялец на стол все свои припасы — консервы, сало, хлеб и пригласил меня позавтракать. Вот и засиделся.

Рассказ старика ошеломил меня. Что это за Грузинский легион? Откуда он взялся здесь, в предгорьях Кавказа, и с какой целью немцы поставили его перед самым фронтом нашей Грузинской дивизии? Все это было совершенно неожиданным для меня и, пожалуй, не только для меня. Честно говоря, некоторое время я даже не знал, что мне предстоит принять. Довольствоваться тем, что я слышал от старика и немедленно вернуться к своим? Или...

— А где он сейчас? — спросил я.

— Дома. Сказал, что по воскресеньям они отдыхают.

— Василий Андреевич.. Поймите мое положение... Я должен поговорить с этим человеком.

— Понимаю! — сказал старик. — Я тоже не слепой. Вижу, поганое дело затеяли немцы.

\* \* \*

Курчанка — большая рыбацья станица, зажатая с трех сторон озерами и потому, не в пример другим приазовским станицам, которые обычно представляют одну длинную широкую улицу, вся состоит из узких кривых улочек и проулков. Почти все они выходят к воде, к лодочным причалам или мосткам для стирки белья. Здешние рыбаки, видно, не очень-то любят возиться с фруктовыми садами и потому выращивают, главным образом, неприхотливые жердели и вишни.

Домик Василия Андреевича Жиги стоит неподалеку от станичного майдана, рядом с продовольственным магазином, и среди бела дня забрать с собою легионера было невозможно. Мы договорились, что до вечера я отсижусь в камышах, а когда совсем стемнеет, старик придет за мной.

Я знал, на что иду, но другого решения не могло быть. Если старик не ошибается, немцы готовят гнусную провокацию. Такой «язык» стоит любого риска. Я должен во что бы то ни стало взять этого человека живым и переправить к нашим.

Ночь выдалась темная. Старик без особых хлопот провел меня к себе во двор и велел подождать. Он скоро вернулся.

— Спит мой постоялец. А вот где его автомат, не знаю. Может, под подушкой у него лежит... но я побоялся, что разбужу.

— Ничего, — сказал я, — веди.

Мы быстро прошли сени, затем темную маленькую кухню и остановились у открытой двери в слабо освещенную горницу.

На тахте, лицом к двери, спал человек. Он спал, как спит младенец в утробе матери, — поджав ноги и стиснув обе руки сомкнутыми коленями. И несмотря на это, едва умещался на тахте. Это был здоровенный парень, и я невольно подумал: «Оборвешь, Ладо, все свои внутренности, если придется этакую тушу на себе тащить».

На нем были — серая распахнутая рубашка и темно-синие бриджи со штрипками на голых ступнях. Один сапог валялся посреди горницы, другой стоял у тахты, рядом со стулом, на котором висел немецкий мундир, только петлицы на нем были незнакомы мне — розовые треугольники на воротнике и левом рукаве.

Отсюда мне трудно было разглядеть лицо спящего, мундир затенял его — я видел только обросший щетиной подбородок и влажную от пота белую шею.

Два небольших окна были завешены черной маскировочной бумагой, и на узком простенке между ними висела на гвоздике жестяная лампа без стекла. Под лампой стоял сундук, а чуть подалее небольшой стол, покрытый старой клеенкой.

Пока я с порога оглядывал горницу, старик молча стоял за моей спиной. Но вот настала пора действовать. Я достал пистолет.

— Вы тут немного подождите, — шепнул я старику и хотел прикрыть за собой дверь.

— Здесь я хозяин, — сердито буркнул Жига. Он придержал дверь плечом и вошел в комнату вместе со мной. И ты знаешь, я тогда, дурная башка, не понял, почему он не остался за дверью. Думал, просто храбрится старый человек, характер свой показывает...

Я подошел к спящему и тронул его за плечо. Он не шелохнулся. Тогда я встряхнул его как следует — одна рука его соскользнула по колену и бессильно свесилась с тахты. Но он все-таки не проснулся. И тут я сообразил — человек этот мертвецки пьян. Конечно, пьян — от него так и разит сивухой. До меня не сразу дошел этот запах, потому что нервы мои, видимо, были на пределе.

Я засунул руку под подушку и вытащил автомат. Еще там лежала какая-то потрепанная книга с заложенными между страницами фотокарточками и письмами. Пока я рылся под подушкой, голова спящего беспомощно перекатывалась из стороны в сторону, да и весь он был словно неживой. Какой-то мешок, набитый мокрым тряпьем.

— Принесите воды, — сказал я старику. Он принес из кухни полную кружку. Я вылил воду на голову спящего. Он что-то промычал, скрежетнул зубами и медленно перевалился на другой бок.

— Набрался, — громко сказал я старику. — Что же теперь делать? Я думал, что своим ходом его погоню... Придется тащить. Веревка у вас найдется, Василий Андреевич?

Старик принес веревку, и мы, не торопясь, связали спящему руки и ноги. Потом старик вышел на улицу. Я попросил его выяснить обстановку, прежде чем мы двинемся в путь.

Проснулся он внезапно. Я разбирал его вещи и то, что мне казалось нужным — документы, письма, какие-то значки, — рассовывал по карманам, когда вдруг почувствовал, что он смотрит на меня. Я обернулся. Он смотрел на меня молча, совершенно тупым, бессмысленным взглядом, и что больше всего удивило меня, — в его широко открытых глазах не было ни удивления, ни страха.

Я понял тогда, что в сущности парень этот еще спит и то, что он не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой, и то, что у его изголовья стоит незнакомый человек, — все это кажется ему жутким сном.

Он закрыл глаза, но тотчас же ресницы его дрогнули, и он снова посмотрел на меня. Теперь его глаза глядели испуганно и были полны беспокойства.

— Тихо! Ни звука, — сказал я ему по-грузински.

— Кто ты? — спросил он.

Я видел, что он уже окончательно пришел в себя, и прямо сказал:

— Я сержант Красной Армии Ладо Вашаломидзе. Пойдешь со мной. И без фокусов, понимаешь.

— А ты сперва развяжи мне ноги, потом приглашай на прогулку, — сказал он.

Меня удивило, как он отнесся к моим словам — как будто бы успокоился и даже пробует шутить. «Что такое?» — подумал я.

Мне не раз приходилось брать «языка». Обычно человек в таком положении, вот так связанный по рукам и ногам, либо угрюмо молчит, либо задыхается от бессильной ярости, а чаще смотрит на тебя жалкими затравленными глазами. А этот...

Я развязал ему ноги.

— Садись, — сказал я. — Будем одеваться.

Он послушно сунул ногу в сапог, который я ему подставил, и вдруг спросил:

— Ты вправду сержант?

— А тебе не все равно? Давай другую ногу и заткнись.

Вошел старик.

— Проснулся? — сказал он. — Вот и хорошо. Мешок с воза — кобыле легче. Давайте побыстрее!

— Подожди, сержант, выслушай меня! — сказал пленный.

— Говорить будешь там.

— Мне лично все равно, где говорить, но тут дело серьезное.

— Разберутся.

— И все-таки выслушай, сержант. Потом убей меня, если хочешь — не думай, что я за шкуру свою дрожу.

— Видели мы таких храбрых. Вставай!

— Торопиться, сержант... Ну что ж! Власть твоя, пошли.

И опять меня озадачило то, с каким невозмутимым спокойствием он шагнул навстречу своей неизвестной судьбе. Хитрит? Играет? Нет, не похоже. Я слишком много видел, как люди лгут и изворачиваются, чтобы ошибиться на этот раз. И поверив своему опыту и чутью, я сел на табуретку.

— Я тебя слушаю, — сказал я пленному.

\* \* \*

Весной сорок второго года, прижатые к морю у крепости Еникале, остатки грузинского полка, трое суток без хлеба и воды, считая каждый патрон, отбивали атаки немцев. Многие погибли в неравном бою, и двадцатого мая сто сорок три человека немцы захватили в плен. Среди них был рядовой Мераб Какабадзе. Некоторое время он находился в перевалочном лагере возле Джанкоя, а оттуда пленных грузин отправили под Варшаву в деревню Веселое. Здесь немцы начали подбираться к сердцам измученных, подавленных пленом людей. Какабадзе, например, они устроили как будто бы случайную встречу с неким студентом Тбилисского медицинского института Ревазом Гавашели. Этот молодой человек рассказал Какабадзе, что две недели тому назад ему удалось бежать из Грузии и перейти турецкую границу. Иначе ему грозила тюрьма, Сибирь, словом, верная гибель, хотя вся его вина заключалась в том, что его несчастный отец попал в плен в самом начале войны.

Реваз показал даже газету «Коммунисти» за 16 июля сорок второго года, в которой был напечатан указ о том, что все военнослужащие, попавшие в плен к немцам, считаются изменниками Родины, а их семьи подлежат ссылке в дальние лагеря.

Гавашели сказал, что разыскивает своего отца, — немцы разрешили ему посетить все лагеря, где содержатся пленные грузины.

Только в эшелоне, по дороге в Россию, Мераб Какабадзе узнал от товарищей, что газета с тем страшным указом была немецкой фальшивкой, а человек, выдававший себя за тбилисского студента, оказывается, родился в Париже в семье эмигранта и никогда не бывал в

Грузии. Но тогда, в лагере под Варшавой, молодой, не шибко грамотный кровельщик из Самтредиа лишился сна. В Самтредиа у Мераба остались молодая жена с ребенком, старик отец и две сестры. Что с ними, где они сейчас?

Газета с указом пошла по рукам, и пленные стали оплакивать не свою горькую участь, а родных и близких, попавших в беду только потому, что военное счастье изменило солдату.

После этого в лагерь под Варшавой зачастили какие-то грузины в штатском, они говорили с пленными, показывали письма, фотографии, документы, подтверждающие, что тот указ неумолимо приводится в исполнение.

И все же когда в начале августа немцы приступили к формированию из пленных грузин «Георгише легиона», в него записалось всего несколько человек. Мераб и его товарищи по грузинскому полку отвергли предложение немцев, за что были переведены в зону строгого режима.

Прошло еще полмесяца, и вдруг пленные грузины один за другим стали записываться в «Георгише легион». Немцы обрадовались, уверенные, что выиграли бой за души этих людей, не подозревая, что пленные действуют сейчас по решению своего подпольного комитета. Комитет, во главе которого стоял старший лейтенант Красной Армии Автандил Мурманидзе, предложил пленным грузинам вступить в легион, получить оружие и при первом же соприкосновении с частями Красной Армии всем соединением перейти на сторону своих. Но у немцев, видимо, были другие планы в отношении легиона. Его долгое время держали в глубоком тылу, и только когда начались бои в предгорьях Кавказа, «Георгише легион» был ускоренным маршем переброшен в эту кубанскую станицу. Не сегодня-завтра его выдвинут на передовую.

— Слава богу, что ты меня сонного не прихлопнул, — усмехаясь, сказал Мераб. — Мы у себя в комитете головы ломали, как связаться с вашим командованием. Ты как раз вовремя появился, сержант.

— Вовремя! — сказал старик.

Я видел, что рассказ Какабадзе глубоко взволновал старого рыбака. То, что Василий Андреевич без колебания поверил ему, почти рассеяло мои сомнения. И когда старик посмотрел на меня, я молча кивнул головой.

Василий Андреевич подошел к легионеру и развязал ему руки. Мераб потер затекшие запястья, достал из кармана брюк пакетик с какими-то таблетками и, заметив мой настороженный взгляд, быстро проговорил:

— Немецкая сода. Замучила меня изжога, не привык я к здешней самогонке.

— Да, пить ты не умеешь, — сказал я.

Он слабо улыбнулся.

— Давно не пил... И вот с одного стакана свалился.

На улице прогрехотала телега.

— Светает, — сказал старик. — Из пекарни хлеб повезли.

Он потушил лампу и свернул шторы на окнах. Но в комнате от этого не стало светлей. Начиналось серое осеннее утро.

— Может, чаек поставить? — предложил старик.

— Там на полке еще консервы лежат, — сказал Мераб.

Старик вышел на кухню. Мы с Мерабом присели на тахту и стали обсуждать, что нам делать дальше. Мераб сказал, что гораздо проще было бы ему или другому члену комитета пойти со мной и лично пере-

говорить с генералом Леселидзе. Но это, пожалуй, не самое лучшее решение. Немцы все время держат легион на прицеле: может, что-то прорухали или просто мало доверяют. Внезапное исчезновение легионера всполошит немцев — начнется следствие, пойдут допросы и возможно, где-то нитка порвется... А там, гляди, угонят легион в другое место.

Я согласился с Мерабом, и он тут же сообщил мне все сведения о вооружении и численности легиона, а главное, где и когда немцы намерены выдвинуть легион на линию огня. Подпольный комитет просил советское командование без боя пропустить легион через свой передний край и в случае надобности поддержать его огнем.

Мы условились, что в самое ближайшее время я вернусь сюда с ответом нашего штаба.

— Кончили разговор? — спросил старик, заглядывая в горницу.

— Да, Василий Андреевич. Хорошо, что мы с тобой встретились... А вот прогоним немцев с нашей земли, пригласим тебя в Грузию и всем народом спасибо скажем... Крепко ты нам помог.

Старик сидел на сундуке, положив руки на колени, и как будто не слушал меня. Может, ему что не понравилось в моих словах?

Он поднял голову и неожиданно сказал:

**ФОТО  
ЛЕТОПИСЬ  
ДРУЖБЫ**



Дружба грузинского и русского народов возникла в глубине веков и неизменно росла и крепла. Она еще более углубилась и получила новое содержание с победой Октябрьской революции. Пламенным поборником этой дружбы всегда был А. М. Горький. Приехав в 1928 году, впервые при Советской власти, в Грузию, в Тбилиси, где началась его литературная деятельность, он встретился и снялся с группой писателей и общественных деятелей Грузии. На снимке (справа налево): сидят В. Рухадзе, Б. Ковынев, С. Годриа, М. Горький, М. Орахелашвили, Н. Мицишвили, П. Ингороква, Т. Табидзе, А. Абашели; стоят: Г. Кучишвили, Г. Крейтан, А. Ситковский, Ш. Радиани, А. Сулава, Б. Буачидзе, Г. Табидзе, М. Джавахишвили, А. Асрибеков, К. Каладзе, П. Кешелав. С этого снимка начинаем мы нашу фотолетопись великой дружбы.

— Я тогда мальчонкой был. Самый младший в семье, как говорят, мизинец. Баловали меня поэтому. Отец мой объездчиком на кордоне служил, так он, бывало, из леса никогда с пустыми руками не возвращался. То белку мне принесет, то птаху какую, а то и просто сушок фигуристый. А однажды волчонка принес, сосунка еще, незрячего.

Я схватил волчонка и в сарай. Там у нас овчарка только недавно ошенилась. Четырех принесла, а я пятого подсунул. А волчонок, видать, сильно голодный был, сразу вцепился в сосок, и когда овчарка вскочила, то он, подлец, так и повис на ней... Отряхнула его овчарка, обнюхала, покачала головой, похоже, что рассердилась, и отошла к плетню. А щенки, те сразу приняли волчонка в свою компанию и давай его катать по соломе. Им что — он маленький, и они маленькие. Им бы только играть.

Отец позвал меня и говорит: «Ты им не мешай сейчас. У них само собой все сладится».

И верно: через час какой гляжу — лежит овчарка на соломе и все пятеро присосались к ее брюху. Спят, возятся, трудятся вовсю.

Когда щенки подросли и перешли на самостоятельное питание, отец трех отдал соседям, а самого лучшего кобелька Шайтана и моего волчонка оставил у нас на усадьбе. Так и росли они вместе, и на чужой глаз казались родными братьями, хотя один был рожден волчицей, а другой собакой. Но я-то замечал: волчонок быстрее как-то наливался силой и с каждым днем превращался во все большего неслуха: я к нему с лаской, а он огрызнется — и в сторону. Очень мне хотелось его приручить, да вот не вышло. Однажды вечером ушел он со двора и не вернулся. Погоревал я, подосадовал, и Шайтан наш тоже в первое время места себе не находил, а потом, как водится, все позабылось.



Вы видите на снимке писателей Константина Лордкипанидзе и Беллу Ахмадулину. Гретьего писателя, присутствовавшего на этой встрече в Москве, на снимке нет, — он стоял с фотоаппаратом в руках. Ему, старейшему русскому поэту — Павлу Григорьевичу Антокольскому и принадлежит этот снимок.

Прошло два года. Как-то утром отец взял меня с собой в лес. Ну и, конечно, Шайтан за мной увязался.

Оставили мы на отцовском кордоне коня и пешком направились к лесной поляне, где стояли наши ульи. Только мы углубились в чащу, как тропу нам перебежал огромный волк. Шайтан с лаем бросился за ним. Мы тоже побежали. Шайтан был смелой собакой, но ему еще ни разу не приходилось брать волка. И мы боялись за него.

Вдруг лай оборвался.

— Пропал твой Шайтан, — кричит мне отец. — Задушит его, проклятый.

Я побежал еще быстрее. Задыхаюсь, падаю, но бегу. Все лицо себе ободрал.

Выскочил я на прогалину и вижу: бегут они рядышком, морда к морде, хвост к хвосту, — мой Шайтан и огромный волк. Пробегут немного, остановятся и давай играть. И на траве повалиют друг дружку, и зубами один другого ласково куснет. По всем своим правилам играют. Потом вскочат и снова трусят рядком.

Я опустил ружье. Это же мои волчонок! Это молочные братья встретились, одной грудью, одним молоком вскормленные.

Вот как оно в жизни бывает, сержант. А немцы, видать, до лесного зверя не доросли... Они хотят, чтобы мир рухнул. Единокровных братьев друг на друга натравливают, мерзавцы!

Мы наскоро позавтракали, Мераб побегол на утреннюю поверку, а я решил поспать часок перед дальней дорогой.

Не раздеваясь, я прилег на тахту, но заснуть мне не удалось — за дверью послышались голоса.

— Кто там? — спросил я.

— Господин квартальный староста на сходку созывает, — сказал Василий Андреевич, открывая дверь. — Входите, входите, Леонтий Сидорович.

В горницу вошел квартальный, рослый мужчина с желтым нездоровым лицом. За его широкими плечами я увидел двух немецких солдат.

— Непорядок, Жига, — сказал квартальный, окинув меня беглым взглядом. — У тебя человек живет, а на дверях не прописан.

— Так он же не живет у меня! Переночевал и дальше... Это адыгей — торговый человек, мой давний знакомец.

— Чем торгуешь? — спросил квартальный.

Я протянул ему свою бумажку. Он внимательно ее прочитал, вернул мне и сказал:

— Покажи свой табак.

Квартальный обнюхал пачку листового табака, по-заячьи дергая носом.

— Табачок у тебя неважнецкий. Значит, на рыбу меняешь?

— Да, на рыбу.

— После сходки зайдешь ко мне. У меня тарань золотая — насквозь просвечивается. А теперь — марш на майдан.

— Мне зачем идти? — удивился я.

— Приказано собрать всех, кого в домах застанем.

— А для чего собирают, не знаешь? — спросил Василий Андреевич.

— Я человек маленький, мне не докладывают. Наверное, опять какой-нибудь налог, — ответил квартальный.

Когда нас привели на майдан, там уже собрались станичники. В ожидании начальства люди спокойно переговаривались, ребятишки



гоняли тряпичный мяч, какая-то старушка, присев на камень, быстро вязала не то рукавички, не то теплый носок. А какой-то станичник, не дослав свое, развалился на пустом базарном прилавке и задал такого ханака, что вокруг начали посмеиваться. По всему видать, станичники уже привыкли к таким сборищам. Но меня неприятно удивило, что по краям майдана стояло много немецких солдат, — я быстро прикинул, — их было не меньше роты.

Собирался дождь. Полнеба уже затянуло серыми облаками. Они спускались все ниже, и все ниже кружили над землей охваченные беспокойством галки и воробьи.

Послышалась команда, топот ног — солдаты мгновенно перестроились и наглухо закрыли майдан. Толпа притихла. Я не заметил, откуда появился офицер, но он вдруг вырос перед нами и что-то сказал по-немецки.

Рыжеволосая женщина в очках перевела его слова. Оказывается, вчера в озере выловили труп немецкого лейтенанта с тремя ножевыми ранами. Господин комендант убежден, что жители станицы знают убийцу, и требует немедленной его выдачи.

Мне стало не по себе. Дело принимало плохой оборот.

Станичники молчали. Комендант немного подождал, потом что-то сказал переводчице.

— Григорий Найда, выходи! — крикнула переводчица.

Из толпы вышел пожилой, небольшого роста худощавый человек в суконной армейской гимнастерке с пустым левым рукавом. Найда сделал несколько шагов и остановился.

— Коэн, — сказал комендант.

— Подойди ближе, — велела переводчица.

Однорукий подошел.

— Что скажешь? — спросил комендант.

— Я ничего не знаю, господин комендант, — негромко ответил Найда.

Комендант размахнулся и ударил его кулаком в лицо.

Однорукий упал, но тотчас же поднялся и, словно ничего не случилось, принялся заправлять пустой рукав за широкий рыбацкий пояс. Комендант нахмурился, должно быть, не понравилось ему, что Найда так быстро встал на ноги.

На этот раз офицер свалил Найду ударом в подбородок. Теперь однорукому было труднее подняться — он перевалился на правый бок, оперся на локоть и, передохнув секунду, поднялся на ноги.

— Ты будешь говорить?

— Ничего я не знаю, господин комендант.

Немец опять повалил однорукого.

Я видел, как своей единственной рукой судорожно цеплялся Найда за булыжники мостовой, за растущую между ними пожухлую траву, чтобы как-нибудь поднять свое немощное тело.

Затаив дыхание, я следил за этим необычным поединком. «Какой гордый человек», — подумал я.

— Не вставай, Григорий, убьют, — крикнула какая-то женщина из толпы, но однорукий медленно, очень медленно, словно по частям сбрасывая с себя непосильную ношу, разогнул спину, выпрямился и шумно вздохнул.

Я не сомневался, что комендант сейчас застрелит непокорного, не пожелавшего валяться в его ногах станичника. Но немец только рассмеялся и, козырнув переводчице, ушел с площади.

А затем произошло то, чего я никак не мог ожидать. Нас быстро, подгоняя прикладами, построили в одну шеренгу, и уже не командант, а другой офицер в черном гестаповском мундире объявил: в наказание за укрытие убийцы немецкого офицера будет расстрелян каждый пятый житель станицы.

...Каждый пятый.

Мой сосед слева быстро повернул голову, чтобы высчитать свое место в шеренге, и вдруг я почувствовал, что он отодвинулся от меня и между нами образовалась пустота. Значит, я — пятый.

Справа от меня стоял Василий Жига. Он посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но передумал, видимо, опасаясь, что слова выдадут его волнение. Он только слегка коснулся моего локтя.

Подошли солдаты и начали выводить из шеренги каждого пятого. Первым вывели паренька лет семнадцати, он заупрямился было, но ему скрутили руки и оттащили в сторону. Следующей оказалась молодая смуглая женщина, кормившая грудью ребенка. Не отрывая ребенка от груди, она сразу стала бледнеть, и скоро в ее лице не было ни кровинки. Мне показалось, что она сейчас упадет. Но женщина не упала, и я понял почему: она все время помнила, что держит на руках ребенка.

Ребенок перестал сосать и заплакал. Мать торопливо дала ему другую грудь. Малыш жадно прильнул к ней, но тут же откинулся назад и заплакал еще громче. У матери пропало молоко.

Она передала кому-то ребенка и молча пошла за солдатами. Никогда не забыть мне глаза этой женщины. Насмотрелся я за войну, как умирают люди, но такого еще не видел... Ни страха, ни горя, ни сожаления — ничего не выражали ее глаза. В них не было уже земного тепла. Ни одним вздохом, ни одним стоном она не пожалела себя.

Женщина была уже мертва, и если все же прошла эти несколько шагов, то только потому, что ею двигала та незримая тайная сила, которую последней побеждает смерть.

Настал и мой черед. Мне сейчас ничего не стоило перестрелять десяток немецких солдат. Но тогда они перебьют всю деревню...

Вдруг стоявший рядом Василий Жига оттолкнул меня плечом, и не успел я опомниться, как он занял мое место.

Место пятого.

— Молчи, — не глядя на меня, шепнул старик. — Видишь...

Он не договорил. Солдаты схватили его за руки.

Так умер старый рыбак, если такая смерть смертью зовется.

\* \* \*

Через несколько дней я вернулся в станицу Курчанку и передал подпольному комитету «Георгише легиона» ответ военного совета армии. Связь была налажена, и наши штабные офицеры засели за составление подробного плана этой операции.

Тамань — Тбилиси,  
1942—1965

# СТИХИ

Перевод с грузинского Н. Тихонова

\* \* \*

Стих мой — это дело моей жизни,  
Это счет всех поколенья сил,  
Я его оттачивал Отчизне,  
Дня без песни я не пропустил.

Дня не знали, чтобы не трудиться —  
Вот наш труд, исполненный огня.  
Пот не просыхал на наших лицах,  
Этот жемчуг завтрашнего дня!

## СЫЧИ

Тбилисского заката все золото, свисая  
Над старой Кошуэти, бледнеет, угасая.

Стал черноглазых говор на Руставели тише.  
И, как корабль, вливается Тбилиси в вечер пышный.

Огней вскипело море, домов сверкают рифы,  
И мечутся машины, как раненые скифы.

На миг волна застыла, быстрее, чем взмах ресницы,  
Вдали ущелье вижу — луны поток струится.

И — «Не нашел?», — кричит там вдали один другому,  
— «Нет», «Нет!», — ущелье стонет сквозь лунную истому.

Сычи! Там что-то ищут и все найти не могут,  
Сычи! — тоской пахнуло, пустынных мест тревогой.

— А я нашел ли? Были ведь долгие исканья.  
— Нет, нет и нет! — И весь я извелся в ожиданья.

Эх, может, под колесами и сгибло без возврата  
Раздавленное золото тбилисского заката!

## ТОМУ, КТО СЛОЖИЛ ПЕРВЫЙ ГРУЗИНСКИЙ СТИХ

Кто ж был ты, первый, что стихи сложил,  
Счастливый, безымянный, полный силы,  
И в слово — песни душу ты вложил,  
И вдруг стихом свирель заговорила.

Испепелен, лежал ли под стеной, —  
Тебя нашел я на раскопках в Михета,  
Быть может, ты воскрес передо мной  
В сияньи зедазенского рассвета?



И, может, вырос из костей твоих  
Гростник, под ним Арагви струи пели,  
Иль телом ты переплелся, как стих.  
С бессмертною резьбой Светицховели.

Быть может, ты туман, что над Курой,  
И стриж задел твои крыла живые, —  
Не знаю... Ты всегда передо мной,  
Ты, кто сложил грузинский стих впервые!



### САНДРО ШАНШАШВИЛИ

Ты старый дуб Алазани,  
Ты — старый, но крепкий дуб,  
Садовник песен, сказаний,  
Виноградарь стиха — трудолюб!

Бор Гомборский — все предки твои,  
Ты стоишь, не боящийся бури,  
Ты, что выращен лирой Ильи,  
И чаргальским Важа чонгури!

То, что предки геройские пели, —  
Песни горькие горя и слез,  
Ты пришел со своею свирелью,  
С песней — шелестом нив и лоз.

И в стихи — все цветы над полями  
Принесла стиховая весна,  
Целовал ты отчизну стихами,  
На любовь отвечала она.

Славил Картли ты и Кахети,  
Алазани, Риони, народ,  
Ту, которой нет лучше на свете, —  
Нашу Родину — счастья восход.

В соколином гнезде ты рожден,  
Ты прославил грузинское слово,  
Ясный голос и струн твоих звон  
Мы в сердцах наших чувствуем снова.

Ты же знаешь — любви моей свет  
В сердце жив он не по заказу,  
Брат, пусть век же звенит мой привет,  
Что от сердца сегодня был сказан.

Пусть оленьей юности нет —  
Седина уж подкралась лукаво, —  
Но остался поэзии ивет,  
В сердце трубы, поющие славу.

Дай еще нам напевов своих,  
Нежных, мужественных и чистых,  
Пусть с плеча не слетает, как стих,  
Соловей золотой, голосистый!

Пой, как пел со всей силою чувств,  
Всем народным земли откровеньем,  
Обнимаю... И Родина пусть  
Счастья даст твоему вдохновенью!



Этот снимок традиционен. Так обычно снимаются после съездов, совещаний, больших форумов. На снимке — грузинская делегация и русские писатели на Первом Всесоюзном съезде писателей в 1934 году.

В архиве Георгия Леонидзе и в бумагах его друзей сохранился разнообразнейший материал, являющийся живой частью огромного масштаба творческой и общественной деятельности замечательного грузинского писателя. Материал этот лишний раз говорит не только о диапазоне собственно литературной работы Георгия Леонидзе, но и о радиусе его личных дружеских связей, о силе его человеческого обаяния, неотделимого от обаяния поэтического. Нижеследующая публикация как раз и призвана приоткрыть завесу над частью подобных свидетельств — свидетельств любви и дружбы, объединивших в единую семью передовой отряд литераторов страны Советов.

«Я вижу этого человека» — так озаглавил Георгий Николаевич сведенные воедино фрагменты своих воспоминаний о Сергее Есенине, которые в нынешнем своем виде были изложены для «Литературной газеты» в юбилейные есенинские дни, но были опубликованы лишь в незначительных выдержках. Письма русских друзей Георгия Леонидзе в особых комментариях не нуждаются — они сами говорят за себя. Коснемся лишь нотной записи Б. Л. Пастернака на открытке, адресованной семье Леонидзе. В 1935 году, в дни бараташвилевского юбилея, Борису Леонидовичу полюбилась и запомнилась грузинская песенка, которую часто напевала Евфимия Александровна Леонидзе. Несколько тактов этой мелодии и записаны здесь поэтом спустя много лет. Как видим, это своего рода «музыкальное воспоминание» о Грузии и тбилисских друзьях.

Экспромт Тихонова, Ольги Форш, Павленко и Мариджан написан в поезде, когда члены знаменитой бригады Союза писателей СССР возвращались домой из своей поездки в Грузию в 1933 году.

Георгий ЛЕОНИДЗЕ

## Я вижу этого человека

Бурная и дерзкая молодость наша осталась позади... Пришло время воспоминаний, и я все чаще тревожу свою память, вызывая из прошлого образы друзей и собратьев. Среди них встает передо мною человек чарующий силы и неотразимого обаяния — большой русский поэт Сергей Есенин. Я будто слышу его голос, звучавший сорок с лишним лет назад:

Я — северный ваш друг  
И брат!

Поэты Грузии,  
Я ныне вспомнил вас,  
Приятный вечер вам,  
Хороший, добрый час!  
Товарищи по чувствам,  
По перу,  
Словесных рек кипение  
И шорох,  
Я вас люблю,  
Как шумную Куру,  
Люблю в лирах и разговорах.

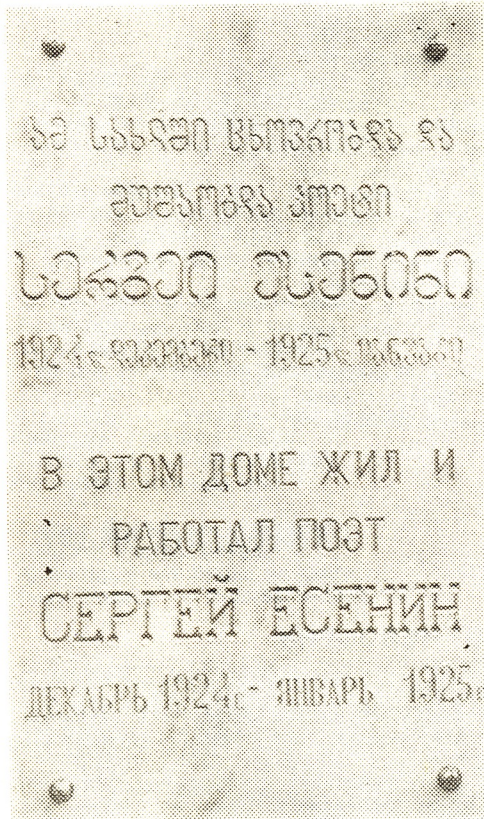
Вижу его ясное лицо, его улыбку, проникающую в стихи, озаряющую строчки...

Взволнованным откликом крепкой любви отвечали мы ему — поэту, обьявшему музыку нашего времени и нашей молодости. С незапятнанной чистотой белой березы возникает он перед моими глазами — ясный, синеглазый, добрый товарищ по чувствам, по перу.

Поистине, в новую эпоху, как бы по наследству, возникла новая завязь любви и родства между грузинскими и русскими поэтами, перекликаясь с традицией, которая сложилась также в 20-х, встает, годах XIX века. Но миссия Грибоедова на этот раз выпала на долю Маяковского и Есенина. Это содружество стало вскоре крепче и глубже — нами обретались новые братья, — но первая любовь забываема и несравнима, как бы кратка она ни была. Недолго длилась любовь, которую я сейчас вспоминаю, но долгий и глубокий след оставила она в наших сердцах, запечат-

лев в них образ молодого, совсем молодого друга, которого я сегодня хочу поздравить с семидесятилетием и напомнить ему его гощение в Грузии.

Это было 40—41 год тому назад, и мне было тогда едва 25 лет, многое забилось, многое было слишком личным, чтобы об этом вслух вспоминать, но кое-что я все же расскажу в этих беглых и фрагментарных воспоминаниях.



Есенин приехал в Грузию в середине сентября 1924 года, до 7 декабря пробыл в Тбилиси, затем месяца три жил в Батуми, снова — ненадолго, дней на десять — вернулся к нам, и лишь в марте очутился в родной Москве, во всех своих мартовских письмах подчеркивая желание и решение как можно скорее вновь появиться на Кавказе, в Тбилиси. Среди адресатов — ближайший из грузинских друзей — Тициан Табидзе, которому он пишет в середине марта ставшие для нас уже хрестоматийными строки письма:

«Милый друг Тициан! Вот я и в Москве. Обрадован страшно, что вижу своих друзей и вспоминаю и рассказываю им о Тифлисе. Похождения наши здесь уже известны, вплоть до того, как мы варили кеги Паоло в хаши.

Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух

в Москве и Питере — тут же качу обратно к Вам, увидеть и обнять Вас. В эту весну в Тифлисе, вероятно, будет целый съезд москвичей. Собираются Качалов, Пильняк, Толстая и Вс. Иванов. Бабель придет раньше. Уложите его в доску. Парень он очень хороший и стоит гостеприимства. Стреси Паоло, какое нужно мне купить ружье по кабардам... Передай привет всем моим добрым друзьям — Паоло, Леснядзе и Гаприндашвили...»

Этот жизнерадостный тон воспоминаний о полугодовом гощении в Грузии станет особенно понятным, если вспомнить холод и ожесточение, испытанные им в недавней поездке по Америке, а также все душевные трудности, переживаемые им в пору твердо принятого решения «навек распрощаться с богемой» и выдать из себя все яды «Москвы кабацкой». Для того, чтобы окончательно проститься с «Русью уходящей», с «Русью бесприютной» и столь же решительно закрепить свое изначальное родство с «Русью советской», Есенину нужна была своя «болдинская осень» — перерыв в привычном и заведенном ходе жизни и сосредоточенная непрерывность творческого полета. И «болдинская осень» Сергея Есенина состоялась. Она дала русской поэзии и «Русь уходящую», и «Русь бесприютную», и «Русь советскую», и «Песнь о великом походе», и «Балладу о 26», и «Анну Снегину», и «Персидские мотивы», и «Письма» — «К женщине», «От матери», «К деду», «К сестре», «Поэтам Грузии», «Ответ», «На Кавказе», «Мстель», «Весна», «Цветы», «Капитан земли» и многие другие жемчужины есенинской лирики.

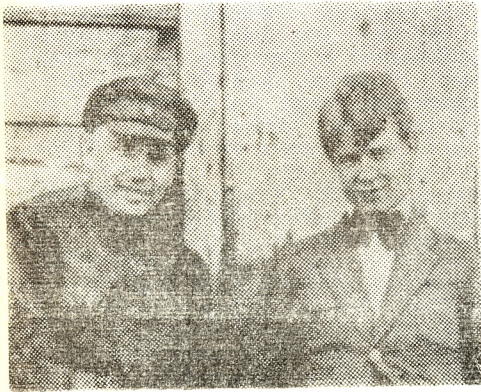
Мы любили его искренний русский стих, силу и высоту его звонкого и чистого таланта, цельность его личности, проявленную в гармоничности его уникального дара. И мы законно гордились тем, что друг наш расстался с нами духовно подготовленным «выпить накопившийся для него московский и питерский воздух». И вряд ли ошибался в свое время Николай Тихонов, когда делился со своими друзьями раздумьями о судьбе Есенина: «Сергей Есенин... увидевший своим зорким глазом «кремнистые дороги» Грузии, хорошо почувствовавший тот дух большой поэзии, который господствовал в Тбилиси в те дни, не мог не приветствовать грузинских поэтов как своих добрых друзей. Если бы он мог надолго остаться в Грузии, может быть, его личная судьба сложилась бы по-другому. Если бы он пережил трудный период своей жизни в Тбилиси, если бы он мог найти в себе силы для новых поэтических поисков, глубже познакомился бы с окружающей его действительностью, как знать,

не ушел ли бы он от смертельной опасности, подстергавшей его».

Силы для новых поэтических поисков, как мы знаем, Есенин нашел бы, ибо вне всякого сомнения конец 1924 и 1925 год были для него годами резкого поэтического подъема, гражданской зрелости и мудрости. Н. Тихонов прав как раз в том смысле, что «прощание с богемой» и овладение «большой эпической темой» были бы облегчены Есенину еще более долгой разлукой с горячо любимыми родными местами, разлукой, не только обостряющей, но и очищающей чувство любви, отсеивающей все случайное и болезненное, возрождающей и укрепляющей все главное и здоровое в ней. Ведь сам Есенин, обращаясь со словами благодарности к Кавказу, научившему, как он писал, его русский стих «кизильовым струиться соком», мечтал вместе с тем:

Чтоб воротясь опять в Москву,  
Я мог прекраснейшей поэмой  
Забить ненужную тоску  
И не дружить вовек с богемой...

...Итак в сентябре 1924 года бакинский поезд привез Сергея Есенина в Тбилиси. Каждого вновь прибывшего к нам поэтического гостя первыми встречали, как правило, Паоло Яшвили и



Редкий снимок. Вы видите Сергея Есенина. Ярко светило в глаза солнце, и поэт шурясь, слегка наклонил голову. Рядом с ним стоит Михаил Молабух — один из персонажей книги А. Мариненгофа «Роман без вранья».

Тициан Табидзе. Паоло был гостеприимным хозяином, Тициан — подлинным Авраамом любого пиришества поэтов. И вряд ли кто из гостей мог миновать Тициана Табидзе. Он в этом отношении продолжал традицию прославленного поэта, друга и тестя Грибоедова — Александра Чавчавадзе, и знаменательно, что он по воле случая жил именно там, где когда-то стоял дом Александра Чавчавадзе. И не случайно, что Сергея Есенина первым встре-

тил как раз Тициан, мгновенно с ним крепчайше сдружившийся. Как впоследствии вспоминал Тициан Табидзе, он и Шалва Апхаидзе были первыми грузинскими слушателями Есенина, не только прочитавшего им недавно написанное «Возвращение на родину».

Есенин остановился сначала в гостинице «Ориант» (нынешний «Интурист»), затем несколько дней гостил в семье Тициана и наконец перебрался к своему другу Николаю Верзибидкому — журналисту из газеты «Заря Востока». В «Орианте» и увидел я его впервые красивым, двадцатидевятилетним, с уже выцветшими несколько кудрями и обветренным лицом, но задорно-синеглазым и по-детски улыбочивым, хотя и не без складки усталости на этой доброй и доверчивой улыбке. О нем сразу создалось впечатление, вскоре навсегда закрепившееся, как о кристально-чистом человеке подлинно рыцарской природы, тонкой и нежной души. Душевный контакт с ним установился мгновенно, и тогда исчезли все барьеры, дружба вспыхнула, как пламя, но не для того, чтобы погаснуть, а все сильнее и сильнее разгораться. Он очень мало и плохо знал Грузию до приезда к нам, но тем ненасытнее оказалась его любознательность и жажда познания распаханного ему дружеские объятия края и народа, поэтической среды. Известно, какие широкие и интересные замыслы лелеял Есенин, приписавший к одному из своих тбилисских стихотворений выношенный им «тезис» о необходимости дополнить «смычку рабочих и крестьян» «смычкой разных народов». Им были задуманы переводы из грузинской поэзии, он договаривался о редактировании литературного приложения к газете «Заря Востока», он мечтал о создании особого цикла стихов о Грузии, поклявшись в стихах «твердить в свой час прощальный» о ней. Но и ему, увы, как и Маяковскому, оставшемуся «в долгу перед багдадскими небесами», не удалось осуществить многие свои такого рода обширные планы, впервые ими намеченные и осуществленные другими их собратьями из большой семьи русских советских поэтов.

Однако кроме больших и малых планов были большие и малые факты, события, происшествия, эпизоды, связанные с жизнью Сергея Есенина в Тбилиси, в своей совокупности и создавшие у него то настроение, которое продиктовало ему свое послание «Поэтам Грузии», свое письмо к Тициану Табидзе (приведенные нами выше), свое заявление московским друзьям, что время, проведенное в Грузии, было для него одним из прекраснейших в жизни. И пусть несколько обрывков моих воспоминаний осветят хоть неко-

торые фрагменты картины, которую можно было бы назвать — «Есенин в Грузии».

## 1. СТИХИ, КОТОРЫМ 2000 ЛЕТ, И КИЗИЛОВЫЙ СОК

Мы выходим из известного лагидзевского магазина фруктовых вод и видим там же, у входа, примостившегося слепого чоңгуриста, напевающего самозабвенно какую-то наивную грузинскую песенку:

Ну и что же, что я черна —  
Я ведь солнцем опалена!  
Я такой же, как все, человек —  
Богом создана и рождена!..

— Что он поет? — спрашивает Есенин.

— Библию.

— Как? — поразился он.

— Песнь песней Соломона.

И я напоминаю ему: «Черна я, но красива, как шатры Кидарские... Не смотрите на меня, что я смугла; ибо солнце спалило меня!..» А он поет это как вчерашнюю любовную песенку, не подозревая, что ей две тысячи лет.

— Как это удивительно! — и задумавшись, долго смотрит на меня, улыбаясь.

В связи с водами Лагидзе я хочу вспомнить, что особенно привлекал нас как бы кровотокащий кизилловый сок. Есенин также пристрастился к нему, и мне кажется, что по какой-то возможной несознательной ассоциации именно этому лагидзевскому изделию обязан своим происхождением один образ из заключительной строфы есенинского «На Кавказе»:

Прости, Кавказ, что я о них  
Тебе промолвил ненароком,  
Ты научи мой русский стих  
Кизилловым струиться соком.

## 2. ГДЕ СПАЛ БАРС

...Тициан Табидзе заинтересовал Есенина поэзией Важа Пшавела. Читал ему по-грузински и тут же делал устный подстрочный перевод. Есенин сходил с ума: волновался, метался, не находил себе места... А Тициан все подбавлял и подбавлял жару. У Есенина от восхищения на лоб лезли глаза. Он был рад совпадению своего и Важа отношения к зверю, к природе.

— Вот где спал барс! — воскликнул он. — Это я должен перевести! — поклонялся Есенин. Доживи он свой век — у нас были бы есенинские переводы Важа Пшавела. Я уже говорил, что Есенин собирался переводить грузинских поэтов.

— Я буду вашим толмачом в России, — говорил он.

## 3. НА ТБИЛИССКИХ УЛИЦАХ

Он любил бродить по тбилисским улицам. Почтительно беседовал с простым народом; расспрашивал о многом. Его с радостью встречали. Как свой человек, забредал он в тбилисские духаны, спускался в погреба. Както случайно я заметил его перед небольшим подвальчиком недалеко от места, где ныне высится гостиница «Сакартвело». Он пытался вмешаться в какую-то драку. Я крикнул ему:

— Смотри Сергей, Христофора Марло убили в кабацкой драке!

## 4. ТРАУР И ТОРЖЕСТВО ПОЭЗИИ

Влюбленный в русскую песню, сам отличный певец, он очень полюбил и наши напевы. Особенно нравилась ему «Урмули» (аробная). Не помню, слышал ли он божественное исполнение Вано Сараджишвили, но похороны этого «грузинского соловья» совпали с пребыванием Есенина в Тбилиси и потрясли его своей грандиозностью. Это был подлинно национальный траур. Но в тот же день был назначен есенинский вечер, и поэт был уверен, что вечер сорвется. Каково же было его удивление, когда зал Совпрофа, где он должен был читать стихи, оказался буквально переполненным. Публика восторженно приняла любимого поэта. Есенин читал великолепно. Траурный полдень и поэтический вечер этого дня надолго объединили в сознании тбилисцев два редких самородных таланта — Сергея Есенина и Вано Сараджишвили.

После чтения стихов разгорелся диспут. Как это часто бывало в те годы. На этом диспуте, между прочим, выступил какой-то заезжий критик — фразер и пошляк, обвинивший поэта в пристрастии к гитаре, тальянке, гармонике, а также в «эксплуатации скандалов». Эти надоедливые укусы длились довольно долго, но Есенин выслушал все с завидным терпением. Наконец он начал отвечать ему. Поднял голову, всмотрелся в потолок и затем обратился к оппоненту (слова Есенина со стенографической точностью записал журналист Г. Бебутов), указав на лепные украшения потолка: «Вот, посмотрите на эти инкрустации. Их много, но они, по сути дела, украшения — не главное. Я не согласен с теми, которые в моих стихах видят только то, что я сам считаю случайным и наносным». Лично я помню и не столь сдержанную реплику Есенина по тому же адресу — «фразер и пошляк!»



## 5. ЕСЕНИН И «ЗАРЯ ВОСТОКА»

...Как-то с особенной четкостью вспоминается Есенин на проспекте Русава с своей легкой походкой, всегда гладко выбритый, в опрятном сером костюме, с тростью в руке и в кепи. Через шею перекинут полосатый шарф. Так он шествовал по нашему любимому проспекту, особенно часто встречаясь с нами именно там. Одной из причин такого «завсегдатайства» было и то, что именно на этом проспекте находились книжное издательство и редакция газеты «Заря Востока». Есенин носил туда свои стихи (ведь большинство его «болдинских» стихов публиковалось в «Заре Востока»), в Тбилиси же издал он книгу новых стихов «Страна Советская». И, наконец, «Заря Востока» была средоточием почти всех русских друзей Есенина в Тбилиси. Недаром он писал в одном из своих шуточных экспромтов:

Ирония! Вези меня! Вези!  
Рязанским мужиком прищуривая око,  
Куда ни заверни — все сходится  
стеzi  
В редакции «Зари Востока».

И газета, и тем более издательство часто выручали Есенина в минуты финансовых «кризисов», которые в те времена были явлением нередким. Авансы и кредиты всегда были там к его услугам. В «Заре» Есенина по-настоящему любили и ценили. Недаром собирався он стать редактором литературного приложения к «Заре Востока».

Когда скончался Есенин, газета «Заря Востока» в своем траурном объявлении назвала поэта своим «сотрудником и товарищем».

## 6. СОН ЕСЕНИНА

...В один из пасмурных ноябрьских дней, кажется, это было воскресенье, Паоло, Тициан, Есенин и я долго бродили по старому Тбилиси, в районе Метехской крепости и знаменитых серных бань. Потом там же пообедали и все вернулись во Дворец писателей. Все мы были навеселе. Вдруг Есенин заявил, что хочет прыгнуть с балкона вниз. Паоло испугался, начал умолять Сергея, чтобы он не делал этого. А тот и слушать не хотел. Тогда Паоло, разозлившись, крикнул ему:

— Пожалуйста, прыгай!

### ФОТО ЛЕТОПИСЬ ДРУЖБЫ



На снимке: А. Белиашвили, М. Златкин, С. Чилая, С. Шаншиашвили, Б. Жгенти, М. Мревлишвили, И. Абашидзе, Ш. Апхaidзе, Х. Берулава, О. Челидзе, Г. Леонидзе.

Есенин засмеялся и прыгать, конечно, не стал.

Опустились сумерки. Но нам было так хорошо вместе, что не хотелось расставаться. Решили не разлучаться и ночью. Далеко за полночь легли — Тициан в кресло, Паоло, Есенин и я — на полу, где был разостлан ковер. Под утро Есенин начал во сне плакать. Мы стали его будить, но безуспешно.

Утром, когда все мы проснулись, я спросил его:

— Не сон ли дурной видел? Почему плакал?

Есенин грустно ответил:

— Да, действительно страшный сон видел. У меня две сестры — Катя и Шура. Один я о них забочусь. Помогаю как могу, всегда о них думаю. Привез я их в Москву. Сейчас они там, а кто знает, как живут... И вот вчера видел сон: им трудно, они ждут моей помощи, протягивают ко мне руки... Представляете?..

И на глазах у него выступили слезы.

— Сегодня же достану тебе денег! — воскликнул взволнованный Паоло. Он действительно мог помочь в беде товарищу. Все мы пошли в издательство «Зари Востока». Там Паоло все уладил: с Есениным заключили договор на издание книги его новых стихов и сразу же дали аванс. Помню, как Есенин послал по телеграфу деньги сестрам.

...К сожалению, мне не удалось встретиться с сестрами Есенина, чтобы рассказать им этот трогательный эпизод.

## 7. ХАШИ И КЕПКА. РУЖЬЕ ПО КАБАНАМ

А вот два веселых комментария к письму Есенина Тициану Табидзе.

Как-то всю ночь напролет кутили мы на тбилисской окраине Ортачала в знаменитом духане Чопурашвили. На рассвете, как полагалось, поехали опохмеляться в хашнюю. Есенин еще не знал вкуса хашы, и поэтому Паоло

### ФОТО ЛЕТОПИСЬ ДРУЖБЫ



Ираклий Абашидзе и Константин Симонов

сильно нервничал из-за того, что заветное блюдо запоздало (мы явились слишком рано, и хаши еще варился). Наконец Паоло не выдержал и ко всеобщей радости бросил в кипящий котел кепку Валериана Гаприндашвили. Особенно ликовал Есенин. Об этом случае он и упоминает в своем письме. Этому же забавному эпизоду посвящены строки из стихотворения Тициана Табидзе.

Пьяный Паоло варил на рассвете  
Кепку свою в прокопченном кот-  
ле...

Но строки эти там звучат в очень горьком контексте, и стихи написаны на смерть Есенина:

Ночью мы были у Чопурашвили.  
Вспомнив тебя, надрывался орган.  
Брату не скажешь о горестной были,  
О горечи незарубцованных ран...

...А что касается просьбы Есенина к Тициану — выяснить у Паоло Яшвили номер ружья для охоты на кабанов, то, грешным делом, мне всегда чудились в этом отголоски тартареновых мечтаний...

### 8. ДУЭЛЬ

...Главное впечатление, которое оставил Есенин в свою бытность в Тбилиси — это неумемая жизнерадостность, почти детская способность полностью отдаваться чистой радости. И

чтобы веселее закончить эти мои отрывочные воспоминания, я перескажу один характерный случай.

Захожу к нему раз вечером в гостиницу «Ориент». Он был один, печален, но при виде меня вскочил и крикнул мне возбужденно:

— Гогла, я вызываю тебя на дуэль! Называй секундантов!

— В чем дело, почему?

— Завтра в шесть часов утра, на Коджорском шоссе!

— Я не понимаю, что за детский разговор!

— Не волнуйся, будем стреляться холостыми, а на другой день газеты напечатают, что дрались Есенин и Леонидзе, понимаешь? Неужели это тебя не соблазняет?..

Я засмеялся, и вскоре мы переменяли тему разговора. Он совершенно забыл о «дуэли». Позднее он, оказываясь, с таким же предложением обратился к Сандро Шаншиашвили...

\* \* \*

Такими были некоторые грани этого удивительного человека. Таким он остался в моем сознании, в моей памяти... И думая о нем, вороша прошлое, воскрешая дорогие образы моей молодости, я чаще, чем кого бы то ни было, вызываю навсегда дорогой облик Сергея Есенина. И как часто хочется мне крикнуть его же словами из одного его изумительного монолога: «Я хочу видеть этого человека!»



П. ПАВЛЕНКО  
О. ФОРШ  
Н. ТИХОНОВ  
МАРИДЖАН

ОДА —  
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА  
ДОРОГОМУ  
ГОГЛА ЛЕОНИДЗЕ

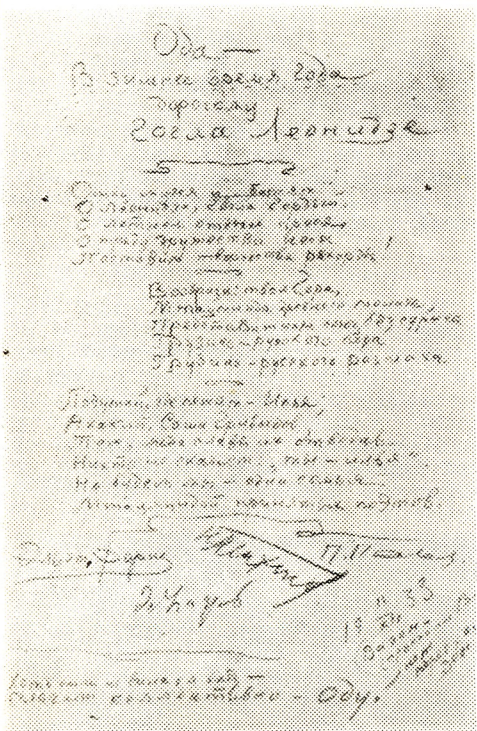
Отец музея и «барсят»,  
О Леонидзе, Гогла Гордый,  
О легнем отдыхе прося,  
Отраду дружества неся,  
Поставим творчества рекорды!

Вообрази: твоя Гора.  
Мтацминда древнего монаха  
Представит нам союз без страха  
Грузино-русского пера,  
Грузино-русского размаха.

Подумай, где лежат — Илья,  
Акакий, Саша Грибоедов,  
Там меда славы их отведав,  
Никто не скажет: «Ты—иль я»,  
Но будем мы — одна семья  
Мтацминдой принятых поэтов.

Хоть пили не вино! — а воду —  
Слагали коллективно — ОДУ.

11/ХП 1933  
Вагон —  
проехали Воронеж,  
переехали Дон.



11 октября 1957 г.

## ДОРОГОЙ ДРУГ ГОГЛА.



Приветствую тебя сердечно накануне праздника грузинской, русской и мировой литературы — юбилея славного Ильи Чавчавадзе.

Ты прекрасно представляешь себе, как я жаждал приехать в эти дни и даже значительно раньше в Грузию и отдохнуть среди старых друзей и новых радостей.

Но будь ему пусто, окаянный радикулит схватил меня за ногу, держит и не пускает. Это непредвиденное обстоятельство повергло меня в грусть и печаль.

Как представлю себе — какие народные празднества пройдут и в Тбилиси и в Кахетии, так печалюсь еще больше. Этот год мне не везет.

Только избавился немного от полного переутомления, стали донимать разные гадости, вроде вышеупомянутого радикулита. Я уж лечусь пчелиным ядом, и... полным воздержанием, что хуже всякого яда.

Написал я благодарность в Комитет по юбилею Чавчавадзе за приглашение приехать и приложил к письму стихотворение, посвященное Илье в день юбилея.

Почитай его, пожалуйста. Пусть его зачитывают там, где найдут нужным, можно и напечатать, или в «Заре Востока» или в «Литературной Грузии».

Зная, как всегда важно иметь под руками текст той цитаты, которой пользуешься, я тебе его приведу. Я говорю о словах Ильи Чавчавадзе, приведенных в первых строках моего стихотворения. Эти слова такие:

«Как хорош человек в час пробуждения! Но еще лучше тот, кто не спит, тот, кто и во сне скорбит сердцем о мирской неволе. Моя прекрасная страна, есть ли у тебя такие сыновья?»

Это из «Записок проезжего».

Таковы дела. Делегация представительная едет из Москвы. Жаль, что Заболотский в Италии. Он хорошо перевел Чавчавадзе.

Слава тебе, Гогла, и милой Пепико. Благоденствие дому твоему и домам детей твоих. Хорошего праздника и новых вдохновений. Я живу сейчас мысленно в Грузии, в Хевсуретии. Кончаю поэму о Серго Орджоникидзе и о 1919 году на Северном Кавказе. Привет всем друзьям.

Обнимаю от имени М. К. и сам Н. Тихонов.

Напиши, как пройдут праздники...

## ДОРОГОЙ ГЕОРГИИ НИКОЛАЕВИЧ.

Ваша книга перенесла меня из Переделкина в милую Картли. Вместе с Вами я читаю «Картлис цховреба», вдыхаю табакхмельские розы, восхищаюсь топодем в Рустави, грущу над судьбой Портохалы и твержу мои любимые строки:

Стих и юность — их разделить нельзя,  
Их одним чеканом чеканили.

Чуть только в России появилось это стихотворение («Поэту»), я сразу же запомнил его наизусть — оно пленило меня и своим изумительным ритмом и своей полновесной мудростью.

Жаль, что я не знаю Ваших стихотворений в подлиннике, приходится угадывать их красоту, которую далеко не всегда могли воссоздать переводчики. Особенно хотелось бы услышать — «У сердца не было гнезда», «Лишь тебе это скажет страна твоя», «Следы неба над лугами», «Мухранская баллада».

Если мы встретимся вновь, я не отстану от Вас, покада Вы не прочтете этих стихов на родном языке.

Прочтя Ваше «О себе», я только теперь по-настоящему познакомился с Вами.

Любящий и благодарный

Корней Чуковский.  
Февраль, 1958

## ДОРОГИЕ, ДОРОГИЕ МОИ ЛЕОНИДЗЕ!



Как я рад, что Вы еще не уехали и что, может быть, я вас всех еще раз увижу. То-то через день или два после Вашего посещения я захандрил. Зина спрашивает: что за колдовство, какое странное превращение? Еще в прошлое воскресенье не мог нахвалиться жизнерадостностью, работоспособностью, и вдруг эта необъяснимая перемена, недовольство временем, недовольство собою... и даже недовольство Чеховым и Львом Толстым. Но более развернутое сообщение об этом я Вам дам в следующую ближайшую встречу, о которой сговоритесь, пожалуйста, с Зиной (она Вам, между прочим, может дать полезные сведения насчет машин). Как мне больно было, что по роковому недоразумению Вы разминулись с ней в среду, когда были в поликлинике.

Но какие Вы чудачки! Сколько раз я предлагал Вам, Евфимия Александровна, связать с Петровым, пока сам был в городе и пока можно было быть уверенным, что он не в отпуску. А теперь я в этом сомневаюсь. Зина завтра с утра будет его разыскивать от Вас по телефону. Мария Эдуардовна не была в воскресенье на даче, как предполагала, вследствие проливного дождя, и известие о том, что Вы хотите обратиться к Петрову, я получил только сейчас, вечером в понедельник.

Но вот что, уверен, — Вам скажет Петров и скажут в поликлинике: что для обоюдного нашего (особенно — моего) выздоровления мы должны почаще видаться. С этого именно и надо начать лечение.

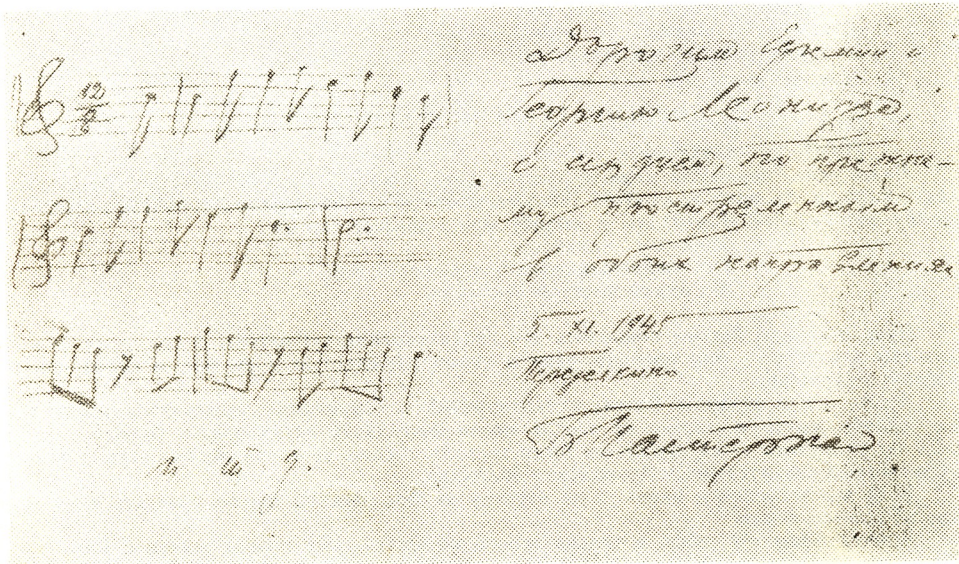
Мы живем в такое интересное время, что быть самим хоть сколько-нибудь интересным нет никакой возможности. Это наше общее несчастье. В этом отношении я самый несчастный. Пожалейте меня.

Всем Вам сердечный привет

Ваш Б. Пастернак.

У нас есть общая чудная приятельница<sup>1</sup>, которая подписывается, как Тютчев, когда он начинал: Ф. Т. Кланяйтесь Тютчевой.

<sup>1</sup> Ф. А. Твалтвадзе.





Очень был рад твоей и Пепико телеграмме из Гори, хотя отредактированная в женском роде (очевидно, на горийском телеграфе засели желающие во что бы то ни стало грузинизировать русский язык!), да еще адресованная не на квартиру, а в Союз писателей, она могла вызвать подозрения и взбудоражить мой семейный покой. К счастью, моя жена знает, что Гогла — не женское имя, и т. обр. все обошлось благополучно.

Пишу тебе в Тбилиси, куда ты, вероятно, уже вернулся, так как я не думаю, чтобы ты на целое лето мог поселиться в Гори. Куда ты собираешься в ближайшее время? ჩვენთან გადმობრძანდები? Ленинград сейчас замечательно хорош, и было бы чудесно, если бы ты с Пепико приехали сюда в мае.

1 июня я еду на месяц в Кисловодск — подлечить сердце и, вообще, отдохнуть. ჩვენი ახალი აშუაგები გეცოდინებთ? Мы в «изд-ве писателей» дублируем ваш сборник «ქართული ლექსები და სიმღერები». Я перевожу все стихи Тициана и твои, за исключением поэмы, которую взялся перевести Тихонов. Помогает мне Варлам Дондуа, с которым я изучаю, как тебе известно, груз. язык. Кроме того, беру уроки разговорной речи у Петре Кобидзе, юного философа, ученика Нудубидзе. Скоро буду писать тебе сплошь грузинские письма. Ах, Хуано, Хуано, что вы сделали со старым евреем? Он уже прошел груз. грамматику (тоже не фунт изюма съест!) и теперь ежедневно зубрит по полсотни слов, расширяя свой убогий лексикон. Но без груз-русск. словаря я положительно пропадаю. Неужели же это неисполнимая мечта? Укради где хочешь, зарежь кого хочешь, но пришли мне Чубинашвили: без него мне жизнь не в жизнь.

Читаю в марровском издании Георгия Мерчула «ცხოვრება გრიგოლისა ხანძხლოსა», а словаря не имею! По существу, ты имеешь право задирать нос: ты же первый был моим госприемником на этом поприще, ты первый научил меня любить великолепное прошлое твоей страны, ты же произвел меня в «почетные грузины»...

Будь же здоров, ხეუკრელო ძმაო, пиши — хотя бы по-грузински — не забывая меня и не бросай начатого дела на полдороге.

Сердечные приветы от меня и от Ек. Конст. тебе и всей твоей семье.

Твой ბებო.

Неужели ты забыл мой адрес? Вот он: ул. Некрасова, д. 26, кв. 6. Б. Лившиц.



В суровые дни Отечественной войны грузинские писатели не раз бывали на фронтах, выезжали на передовые позиции. Об одной такой поездке напоминает этот снимок. Писатели Г. Н. Леонидзе, С. И. Чиковани, Д. К. Шенгелая сфотографированы в Новороссийске с Леонидом Ильичем Брежневым, Константином Николаевичем Леселидзе и другими военачальниками.

# Есть такая партия!

«Есть такая партия!» —  
  потоком,  
Обретая силу и права,  
Хлынули, пронзая землю током,  
Сказанные Лениным слова.  
Есть! —  
          И озарило солнце землю,  
Расплескалось зарево знамен.  
«Есть такая партия!» — приемлю  
Это, словно клятву, как закон!  
Партия —  
          не знаю выше слова.  
Воплощенье воли и ума —  
Партия, порвавшая оковы  
Угнетенья, рабства и ярма.  
Ты на бой народы поднимала.  
Шли в огонь бесстрашные бойцы.

И на месте хижин и подвалов  
Прорастали солнечно дворцы.  
Ополчась на нищету и кость, Гневно сокрушая старый быт,  
Это ты нас выводила в космос  
На высоты солнечных орбит.  
Партия!

          Ты — солнце поколений.  
Прикажи — я к звездам полечу.  
Переозарение Вселенной —  
Это нам отныне по плечу.  
Партия!  
Пусть славятся вовеки  
Все твои свершенья и дела.  
Мир и счастье — все для человека.  
Это ты нам, партия, дала.

Перевод с грузинского В.ч. Кузнецова

ФОТО  
ЛЕТОПИСЬ  
ДРУЖБЫ



В. Катаев, Ш. Дадиани, С. Городецкий, А. Барто, Н. Кончаловская, Л. Соболев.  
и А. Сафронов у Василия Павловича Мжаванадзе.



## Неопубликованная речь Михаила Светлова

Присуждение Ленинской премии 1967 года поэту Михаилу Аркадьевичу Светлову, недавно ушедшему от нас в расцвете своего яркого жизнеутверждающего таланта, встречено его многочисленными читателями с большим удовлетворением и радостью.

Ниже мы помещаем впервые публикуемую по стенограмме короткую речь Михаила Светлова на обсуждении творчества грузинских поэтов в дни Декады грузинского искусства и литературы в Москве в марте 1958 года. Тепло встреченный собравшимися, поэт так начал свою речь:

Я понимаю, конечно, что у меня в ваших глазах гораздо больше обаяния, чем у всех предыдущих товарищей, потому что я женат на **грузинке**. Найдите мне еще одного оратора, который был бы женат на грузинке?!

Однажды я с моим другом, с которым вместе начинал писать, с Михаилом Голодным, ездил на побережье Черного моря. Ни я, ни он не умели выступать. Там встретился нам один старый грузин, и когда мы ему об этом сказали, он дал совет: самое главное, произнести первую фразу — «Товарищи!». А потом начинай думать.

Вот я и говорю: «Товарищи!» и сейчас начну думать. Я считаю, что это самая верная форма выступления.

Я занимался молодыми поэтами, и должен сказать, что я просто многим недоволен. Недоволен тем, что некоторые или даже многие писатели едут из Ленинграда в Москву и думают, что они Радищевы, путешествуящие из Петербурга в Москву. Я очень боялся, что встречу такую книгу и, честно говоря, очень обрадовался, что этого не случилось.

Растет молодое, по-моему, великолепное племя грузинских поэтов. Тут сорок поэтов, и не то что декады, но и пятилетки не хватит, чтобы обо всех сказать. Поэтому я, не затрагивая каждого отдельно, скажу о своем общем впечатлении.

Не помню, кто это выступал, но он сказал о фразе, о такой строке: «На этом основании» — это прозаизм. И ему показалось, что это учрежденческий оборот. Очень редко, но надо проявлять прозаизм. Иногда прозаизм — волшебное слово. Только не надо им злоупотреблять. Два раза — это много. Хотя можно и без этого обойтись. Но дело не в этой фразе.

Я много читал молодых поэтов и вожусь с ними — и с нашими и с поэтами наших республик. В чем там беда? Там беда в том, что они думают, что поэзия — это рахат-лукум, что до Советской власти рахат-лукум был плохой, а при Советской власти стал удивительно вкусным.

Есть еще убогость мысли. Некоторые думают, что любой культурный человек может писать и может стать поэтом, что его можно научить стать поэтом за любую плату. Это чепуха.

Я должен вам сказать, что я с большой радостью воспринимаю декаду. Но для меня декада—не закон. Если бы мне что не нравилось, я бы так и сказал: не нравится.

Я должен вам сказать, что в творчестве поэта всегда происходит скачок. Если у него не произошел скачок, то ничего нельзя с ним сделать. Мы можем сказать, что у человека вообще скачка не произойдет, и так бывает... Может произойти скачок, а может и не быть. Лично у меня такой подход к молодым поэтам. У меня здесь отмечено много хороших мест и неудачных.

Я должен вам сказать, что у нас великолепные переводчики, мы их недооцениваем. Мы думаем, что это передатчики чужих мыслей, а тут творческие переводы. Мне попадались неизвестные для меня фамилии, и как они великолепно перевели!

Я не буду разбирать отдельные стихи, вы уже устали, а я тем более, ибо я вожусь не только с молодыми поэтами, но со многими вообще. Я очень рад этой декаде, и говорю это не в декадном плане.

Мне приходилось видеть молодых поэтов, которые никак не могли писать, языка не знали, а потом вырастали в чудесных поэтов.

Я убежден, что у вас сейчас очень урожайная юность в поэзии. Учтите опять-таки, что я говорю это не в смысле декадности. Дай бог счастья этим поэтам. Я хочу, чтобы они меня помнили и любили. В этом у меня свой эгоизм.

Нет смерти для того, кому было  
у дано высшее счастье победы!  
[ Величайший писатель <sup>и поэт</sup> ~~и поэт~~  
~~и поэт~~, утонченнейший  
художник, любитель класса  
революционного, любитель Ленина  
и революции  
он умеет  
идти  
к счастью  
Вечно.

За дружбу народов, за правду и свет,  
Печальней своей елиот герою и поэту!  
В провозглашенную свободу — вой горы и дни.  
Най дружай народов великой образе.  
В свободной червильной обрешенной руке:  
За участь народов, за дружбу родном!  
Для братя великой дела и слова.  
Милостив, лорам в борьбе за правду.  
Милостив, лорам в борьбе за правду.  
Но пламенный прозани, с родном светлом  
на себе Мироздан, в великую ширь  
Тво осени, везезы и лес виланты,  
Франклинчи овера, грикнида, чехова  
Тво ельнички виланты и чехи ильнички.  
Эт вавой и вавой звези мой песни  
Тво новий да прозани дехой чехос —  
За дружбу народов плучь увидишь ильнички  
Пусть рудий ильнички плучь увидишь ильнички

Тодаси ильнички  
Эт вавой

Перу народного поэта Грузии Галактиона Табидзе принадлежат строки о Максиме Горьком, о его бессмертии и вечной славе. Написаны они 18 июня 1936 года и начинаются со слов: «Нет смерти для того, кому было дано высшее счастье победы!» Помещая фотокопию с этих строк, мы приводим и другой автограф поэта: стихи о дружбе народов. Написаны они Галактионом Табидзе на русском языке. (Из личного архива Г. Бебутова.)

# Солнечная НОЧЬ

РОМАН

Перевод с грузинского З. Ахвледиани

## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В сто седьмой аудитории разыгрывалась трагедия... Экзамен по политэкономии принимал сам профессор — уважаемый Касьян Гогичаишвили. Событие это само по себе для нас не было неожиданностью, и никого оно особенно не волновало. Но когда из аудитории, вопя и царапая щеки, выскочила Люба Нодия и заявила, что «он все слышит!», — нас обьял ужас. Кто мог подумать, что наш добрый, глухой профессор, которому на экзамене можно было, не опасаясь за последствия, рассказать вместо теории меркантилизма о строении корней люцерны, — кто мог подумать, что он обретет слух именно сейчас, в разгар весенней экзаменационной сессии! В такой ситуации лично для меня экзамен можно было считать оконченным, но любопытство взяло верх, и я подбежал к пожелтевшей, словно перезрелая дыня, Любе, которая никак не могла оторвать взгляда от красовавшейся в ее матрикule двойки.

— Ну, выкладывай, что там было? — спросил я и потянул ее за рукав.

— Что мне теперь делать? — простонала Люба.

— Да разве он не знал, что выставлять двойку в матрикule не полагается? — спросил Гурам.

— Я сказала ему. А он ответил, что не знал, что он впервые в своей жизни ставит двойку. Что мне теперь делать? — глаза у Любы наполнились слезами.

— А все же, какие тебе попались вопросы? — спросил Гурам.

— Первый — товарооборот, второй — инфляция, третий — забыла...

— И ничего не ответила?

— Я начала отвечать...

— Что же ты сказала?

— Сказала, что лето, мол, провожу в деревне, помогаю на огороде бабушке... Что бабушка моя — женщина добрая...

— А он что?

— Ну, говорит, пусть добрая бабушка и выставит тебе отметку...

Люба, всхлипнув, уткнулась лицом в матрикul.

Дверь аудитории распахнулась, и появился наш староста Ефрем со списком в руках.

— Барамидзе и Чичинадзе, входите! — обьявил он.

— Дегенерат! Это в каком алфавите после «б» следует «ч»?! — возмутился Гурам.

— Один — сверху, один — снизу! — разъяснил Ефрем, указывая глазами на дверь — дескать, я тут ни при чем, так велел профессор.

Я не знаю названия этой болезни — когда сердце подступает к горлу, язык проваливается, лоб покрывается холодной испариной, колени подкашиваются, руки начинают дрожать и в глазах темнеет. Но взглянув на Гурама, который огромным платком вытирал лоб и руки и обливался пересохшие губы, я понял, что болезнь эта — заразная.

В аудиторию мы вошли на цыпочках. У покрытого зеленым сукном стола сидел улыбающийся профессор. Мне сразу бросились в глаза его новые очки — огромные, в золотой оправе, одна дужка которых соединялась с погубившей нас миниатюрной мембраной...

— Присаживайтесь, пожалуйста! — вежливо пригласил он нас.

Мы не тронулись с места.

— Вы что, плохо слышите? — повысил профессор голос. — Пожалуйста к столу!

Мы присели к столу, на котором, словно листки со смертным приговором, лежали белые, почти нетронутые экзаменационные билеты.

— Возьмите билеты и подготовьтесь! — предложил профессор.

Я взял билет, пробежал его глазами и понял, что это именно тот билет, думать над которым мне не надоеет до самой смерти. Гурам тоже взял билет, быстро на него взглянул, и я прочел в его глазах печаль отданного на заклятие бычка.

— Ваше имя и фамилия? — спросил профессор.

— Барамидзе Теймураз! — ответил я на первый вопрос. Профессор записал в блокнот.

— Ваше? — обратился он к Гураму.

— Чичинадзе Гурам! — бодро ответил Гурам. Профессор записал.

Я и Гурам уселись, согласно экзаменационному ритуалу, поодаль друг от друга. С удивительным равнодушием стал я читать свой билет. Первый вопрос — земельная рента.

— Может, начнете? — спросил вдруг меня профессор.

— С удовольствием! — ответил я. Гурам от удивления разинул рот.

— Ну-с, приступайте! — обрадовался профессор.

— Земельная рента. В капиталистических странах земля продается. Там вообще продается все, даже совесть. Совесть, разумеется, дешевле. Рентой называется доход, получаемый капиталистами с земли. В капиталистических странах очень высокие налоги. Крестьяне стонут под ярмом военных налогов, потому что капиталисты бряцают оружием. Вооружение требует больших расходов, расходы — денег. Откуда взять деньги? — спрашивает логика событий. Ясное дело, путем взимания налогов!

— Как вас зовут, молодой человек? — прервал меня профессор.

— Темо, батано!<sup>1</sup>

— Посещали ли вы мои лекции?

— Что за вопрос, уважаемый профессор! — обиделся я.

— Почему-то я вас не помню... А вас я вообще не знаю! — обернулся он к Гураму.

— Зато мы вас прекрасно знаем, уважаемый профессор! Вы — Касьян Гогичаишвили, любимый наш педагог. Вы — наша гордость! Пропустить ваши лекции? Как вы могли такое подумать! Мы их не записываем — глотаем! — Гурам был в экстазе.

— Ну-ка, расскажите, что вы глотаете? — остановил его профессор.

<sup>1</sup> Батано — форма вежливого обращения.

Гурам остолбенел, потом тряхнул головой, точно вытщенный из воды пес, и взглянул на меня. Я с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться.

— Ну-с? — повторил профессор.

— С Барамидзе вы уже все закончили, уважаемый профессор? — произнес тихо Гурам, одарив меня обворожительной улыбкой.

— Барамидзе подумает над вторым вопросом.

Гурам еще раз взглянул на билет, потом закатил глаза и стал искать ответа где-то над бровями, в извилинах мозга. Однако, не обнаружив там ничего, он вернул глаза в нормальное положение и вдруг спросил профессора:

— Можно переменить билет?

— Можно, — ответил со вздохом профессор.

Дрожащая рука Гурама скользнула по билетам, затем остановилась на одном из них и надолго застыла.

— Чичинадзе, кроме вас мне нужно проэкзаменовать еще и других! — напомнил профессор. Рука Гурама дрогнула, потом поднялась, захватив с собой билет, и остановилась перед его глазами. Гурам зашевелил губами, — видно, читал вопросы.

— Ну-с, что скажете? — поинтересовался профессор и нервно постукал по столу пальцами.

— Сколько можно переменить билетов? — спросил Гурам надтреснутым голосом.

— Дайте ваш матрикул! — профессор протянул руку.

Гурам обмяк.

— Не губите меня, профессор, стипендия пропадет!

— Стипендия? У меня, молодой человек, пропал друг, друг детства, и ничего, видите — я жив и здоров!

— Что же с ним стряслось, с несчастным? — растрогался Гурам.

— Чичинадзе! Дайте матрикул! — повторил профессор.

Спаси! — попросили меня глаза Гурама.

— Уважаемый профессор, вы совершите несправедливость, поставив ему двойку. Мы всю ночь занимались вместе, — вступился я за друга.

— Молодой человек, я пять лет учился в Оксфордском университете вместе с Чемберленом. Он стал премьер-министром Англии, а я сижу в Тбилиси и учу подобных вам идиотов. Ясно? — спросил профессор.

Все было ясно, как божий день. Но Гурам не хотел отступать.

— Уважаемый профессор, представьте, что вы — миллионер, — начал он. — Вы миллионер, и у вас несколько миллионов троек. Приходит к вам нищий и говорит: «Уважаемый миллионер, окажите милость, подарите мне одну тройку». Теперь представьте, что нищий — это я, и я прошу вас... — я не выдержал диалога миллионера и нищего и, зажав рот рукой, выскочил вон.

В коридоре никто меня не встретил, никто не стал расспрашивать.

Только Гулико молча проводила до конца коридора.

Я спустился по лестнице. Дойдя до нижней ступени, я почувствовал на себе ее взгляд и оглянулся. Гулико стояла на верхней площадке, упершись локтями в перила и спрятав подбородок в ладони. Она смотрела на меня.

— Чего уставилась? — огрызнулся я. Гулико выпрямилась, покачала головой и ушла.

Я спустился в университетский сад, сел на скамейку. Какая-то девочка, присев передо мною на корточки, маленькой лопаткой копала землю и сыпала ноги мальчика. Тот спокойно стоял, словно молодой са-

женец, и улыбался. Девочка то и дело посматривала на мальчика, про-  
веряя — вырос ли он, и продолжала копать.

Мальчик стоял неподвижно и улыбался.

Была теплая, майская погода.

Именно в этот теплый майский день расходная часть государственного бюджета благодаря моей двойке сократилась на 275 рублей и 40 копеек.

Стипендия относится к той удивительной категории денег, которую не назовешь иначе, как божьим даром. Для меня, человека честного, всегда оставались неразрешимыми три вопроса: почему мне выплачивали стипендию, почему этот божий дар облагался подоходным налогом и почему с меня требовали плату за обучение. К тому же я был твердо уверен, что нет на свете человека, который бы нуждался в стипендии больше, чем я.

И вот теперь я, лишенный стипендии, сидел в университетском саду и взирал на маленькую девочку с лопаткой, которая закончила посадку саженца и приступила к его поливке.

Мальчик-саженец взглянул на меня и улыбнулся.

— Как тебя зовут, мальчик? — спросил я.

— Его зовут Лаша, меня — Ия! — ответила девочка.

— А почему ты его поливаешь? Ведь он может простудиться.

— Чтобы вырос!

— Так мальчики не растут. Вот я, когда был маленьким, много ел и вырос большой, видите?

Девочка недоверчиво взглянула на меня.

— Что вы ели? — спросила вдруг она.

— Хлеб с маслом, молоко, кашу, пирожные... — начал я загибать пальцы. Дойдя до большого пальца, я проглотил слюну и умолк.

— А теперь? — спросила девочка.

— Что — теперь? — спросил я.

— Что вы теперь едите?

— Теперь еще ничего, а вот что я буду есть в дальнейшем — этого уж не знаю, — улыбнулся я.

— Почему? — спросила девочка.

— Потому что потерял стипендию!

— Что?

— Стипендию!

— Где потеряли?

— Как — где?

— Ну, вы ведь сказали — «потерял». Что вы потеряли?

— Ничего я не терял. Пошутил.

— Скажи, дяденька, что ты потерял?

— Перпетуум-мобиле.

— Что-о-о?

— Пер-пе-туум-мо-би-ле! — произнес я по слогам, радуясь, что девочка не сможет повторить слово и отстанет. Но не тут-то было.

— Пермендумобиле? — спросил мальчик.

— Ого, как ты вырос! Хватит, вылезай из грязи! — переменял я тему беседы.

— Не вылезай! Высохнешь! — предупредила Ия. Мальчик не сдвинулся с места.

— Дядя, ты сильный? — спросил Лаша.

— Так, ничего себе.

— Ну-ка согни руку! — Я согнул руку, напряг мускулы. Мальчик указательным пальцем пощупал бицепс и в знак одобрения хмыкнул.



— Сильнее горы?  
— Конечно!  
— Сильнее медведя?  
— Разумеется... А теперь хватит, ты уже большой! — сказал Лаша, обнял его за плечи и приподнял. Мальчик поболтал ножками, стряхнул землю.

— До свидания! Дома, перед сном, поешь хлеба с маслом и утром встанешь большо-о-ой — большой!

Я поцеловал мальчика и опустил на землю.

— Уходишь, дядя? — спросил с сожалением Лаша.

— Ухожу. Ну-ка, покажи твои мускулы! — мальчик согнул тоненькую ручку, напряг шею, затаил дыхание и уставился на меня.

Я тронул пальцем его руку.

— Э, да ты, брат, оказывается, не шутишь! — удивился я. Лаша расцвел в улыбке и взглянул на сестру.

— Завтра я буду еще сильнее, поем хлеба с маслом! — обнадежил он меня.

— Смотри, не подведи, пожалуйста, меня! — попросил я мальчика и покинул сад...

\* \* \*

По правой стороне Варазис-хеви<sup>1</sup> стоит дом. На четвертом этаже этого дома — моя комната. С востока и запада со мной граничат добрые соседи, с севера возвышается гора мусора, сваленного для засыпки оврага, с юга — университет. Площадь комнаты — 26 квадратных метров, но в жилуправлении, с благородной целью снижения квартплаты, площадь несколько изменена — 20. Мебель комнаты — две кровати, один письменный стол, три стула и один шкаф. В шкафу — три с половиной тарелки, четыре стакана, столько же вилок и ложек. Что касается вешалки — функции ее выполняю я сам: вся моя одежда — на мне. Поэтому, уходя из дому, я вручаю ключи первому попавшемуся соседу или же оставляю дверь вовсе незапертой.

...С тяжелым сердцем поднимался я по лестнице. Дверь в переднюю оказалась открытой. Я вошел в комнату и остолбенел. По телу пробежала дрожь, колени подкосились. Комната была полна соседей. Они окружили кровать, на которой сидела худая, бледнолицая, седая, усталая женщина средних лет. Женщина, грустно улыбаясь, тихим голосом рассказывала что-то. Моего прихода соседи словно и не заметили. Женщина спокойно посмотрела на меня и продолжила свой рассказ. Соседи сочувственно покачивали головами. Женщина вдруг умолкла, уставилась на меня, потом взглянула на соседей. Соседи обернулись... В комнате наступила мертвая тишина. Я слышал биение собственного сердца и противный скрип стула. Больше ничего. Женщина не сводила с меня глаз. Потом она испуганно взглянула на соседку Элико. Та утвердительно кивнула головой. Тогда женщина встала. Руки и губы ее дрожали. Она была удивительно похожа на ту, другую женщину, которая двенадцать лет тому назад, здесь, в этой комнате, в четыре часа ночи, разбудила меня, перекрестила и поцеловала в грудь. Потом ее увели двое мужчин, один из которых выглядел растерянным, а другой — с полным серебряных зубов ртом — улыбался.

Это была моя мать.

Сейчас нас разделяли каких-нибудь три шага. Она шла ко мне медленно, очень медленно, я уже слышал ее дыхание. Мне хотелось повер-

<sup>1</sup> Варазис-хеви — улица в Тбилиси.

нуться и убежать, но я не мог сделать этого. Я закрыл глаза и ждал, что произойдет дальше. Потом я почувствовал на своем плече ее голову и услышал ее шепот:

— Здравствуй, сын.

И еще, и еще, много-много раз — «здравствуй, сын...» Я понял — она ждала ответных слов: «Здравствуй, мама». Но я не смог произнести их.

— Здравствуйте! — сказал я и заплакал.

\* \* \*

Я сижу на кухне и смотрю в окно на выстроившиеся перед зданием университета чинары. Одна, две, три, четыре... Соседи, видно, уже спят. Элико больше не заходит и не уговаривает меня: «Иди в комнату, парень, не будь бессердечным, пожалей мать»... Она тоже, наверное, легла... Ни о чем меня не спросила — где я учусь, на каком курсе, как живу... Семь... Семь чинар... Их, видно, сажали через год, иначе почему седьмая чинара выше всех остальных? Сейчас я войду в комнату, спрошу: «Ты спишь, мама?»... Что за вопрос! Спрошу: «Как ты себя чувствуешь, мама?» Или: «Не обижайтесь, пожалуйста»... Нет, так говорить не следует... Это, наверно, последний трамвай. Сейчас он пройдет и вернется лишь в четыре утра... Я знаю этого вагоновожатого, он разрешает мне подниматься с передней площадки, а сам смеется: «Дружок, хоть ты и депутат, а все же не забудь насчет билета»... Прошел... Дзин, дзин, дзин... Часы на улице с моей стороны показывают час ночи, с другой стороны, наверно, уже светает... Сейчас я войду к ней и скажу... Что я скажу ей? Не знаю. А что скажет она?..

Я тихо приоткрыл дверь. Мать лежала на кровати, подложив руки под голову и уставившись в потолок. Я подошел к своей кровати и лег. Лежал час, быть может, два, может, минуту, а может, и все двенадцать лет, начиная с того дня... И передо мной прошли те годы — ясно, отчетливо, словно семь чинар. Но ее не было нигде. Был я — один, или с другими, был я со всеми, но только не с ней. Ее, матери, не было нигде. Сейчас она есть, мы вдвоем в одной комнате. И это не сон, это явь, как те семь чинар перед университетом. Сейчас мы лежим в разных углах комнаты, и мы одинаково несчастны от того, что настал этот счастливый день.

Господи, неужели она не скажет ничего? Может, заговорить следует мне?

— Темур! — услышал я тихий голос. — Темур, Темо!..

Я не смог вымолвить ни слова. Сердце подступило к горлу.

Мать встала. В белой длинной сорочке она, словно призрак, приближалась к моей кровати. Подошла, опустилась на колени. Я закрыл глаза и почувствовал на висках прикосновение ее дрожащих рук.

— Темур, мой маленький мальчик! Темо, Темико, скажи хоть слово, сынок!

Мне хотелось умереть, оглохнуть, кричать, звать соседей на помощь.

— Темур, какой ты большой, сынок! Кто тебя растил, как ты рос, деточка моя? Знаешь ли ты, что завтра тебе исполняется двадцать? Почему, почему двадцать?! Почему тебе не восемь, мой маленький? Почему не восемь, почему, почему?! — она упала мне на грудь и зарыдала.

Я встал, поднял мать, обнял за плечи, подвел к кровати и усадил.

— Почему... Почему... — повторяла она.

— Успокойтесь, пожалуйста, очень вас прошу! — с трудом выдал я. Мать закрыла лицо руками и замерла. Я подошел к своей постели



ли, оглянулся. Мать не двигалась. Тогда я быстро оделся и на цыпочках вышел из комнаты.

\* \* \*



Я спустился по Варазис-хеви и по тропинке, бегущей вдоль правого берега речки Вера, вышел к мосту с грифонами на парапете. Вокруг все было погружено в сон. Лишь в крайнем окне четвертого этажа высотного дома горел свет, да и тот, словно завороченный моим взглядом, погас. Где-то за мостом Челюскинцев, возвещая об официальном наступлении ночи, протяжно свистнул милиционер. Потом он свистнул еще раз — теперь уже предупреждающе: дескать, не шалите, люди, — и снова наступила тишина. Тихо, убаюкивающе журчала Вера, и я подумал, что не будь этого приятного журчания, тишина не была бы столь полной.

Я пересек площадь, подошел к гастроному. Перед широкой дверью магазина, на ступеньке каменной лестницы, сидел закутанный в овчинный тулуп ночной сторож. На коленях у него лежала одноствольная «централка». Сторож грел руки над тлевшими в ведре угольками.

Я приблизился к сторожу. Он одним глазом, не поднимая головы, взглянул на меня.

— Холодно, дяденька? — спросил я.

— Жарко! — ответил он и принялся палкой перемешивать угли.

— Можно мне погреться?

— Нельзя!

— Почему?

— Не знаю. Нельзя и все! — огрызнулся старик.

Я прошелся немного, потом остановился перед сторожем и снова спросил:

— Значит, нельзя, говоришь?

— Не я — Устав говорит! — ответил он, поднимая голову.

— Ага, значит — Устав?

— Что ты ко мне привязался, парень? Видишь, я на работе, ты — навеселе. Пойди, погуляй, мало тебе места?

— Да ничего я не навеселе! Просто разговариваю с тобой.

— Ну и отлично. А теперь проваливай!

Я прошелся и снова подошел к старику. Тогда он извлек из кармана свисток на длинном шнурке.

— Считаю до трех. Не уйдешь — свистну! — сторож поднес свисток ко рту и надул щеки.

— Погоди, дядя, что с тобой? Вор я, что ли?

— Раз! — начал старик.

— Ты что, боишься? На вот, смотри! — Я быстро вывернул карманы. — Видишь, ничего у меня нет. Хотелось душу отвести, поболтать с кем-нибудь. Вот и подошел к тебе. Не хочешь — уйду! — сказал я обиженно. — До свидания! — Я расстегнул и снова застегнул пуговицу на плаще.

— Иди, сынок, иди... Ну, чего ты ждешь? Вот послал бог черта на мою голову!

— А-а-а, боишься? — протянул я, злорадствуя.

— Чего бояться-то, — обиделся старик, — у меня и свисток, и ружье!

— Тоже мне ружье! Бронебойное!

— Поди стань на сорок шагов — увидишь!

Я повернулся, отсчитал сорок шагов и очутился на середине площади. Потом повернулся лицом к сторожу, расстегнул ворот, расста-

вил ноги и... приготовился к смерти. Я не видел глаз сторожа, но был уверен: он принял меня за сумасшедшего.

— Ну, стреляй, трус!

Старик не спеша поднялся, подошел к бордюру тротуара, взвел курок, вскинул к плечу ружье, прижался щекой к прикладу и стал целиться, как мне показалось, прямо в лоб.

— Э-э, ты с ума сошел! — завопил я, сорвался с места и бегом, зипагами бросился к старику. Опершись на ружье обеими руками, он громко, от души хохотал.

— Ты, дядя, ненормальный! — сказал я обиженно.

Сторож все смеялся. Я махнул рукой, пошел к магазину и присел у ведра.

Наохотавшись, старик подошел ко мне и кряхтя уселся рядом.

— Небось, душа в пятки ушла? Обезьяна! — он готов был снова покатиться со смеху.

— Табаку у тебя не найдется? — спросил я.

Старик пристально посмотрел на меня, медленно достал из кармана кисет, протянул мне и встал. Я отсыпал табаку, скрутил сигарку и возвратил кисет. Старик тоже закурил.

— Так бы и сказал, что курить хочется...

Я затаился один раз и бросил сигарку в ведро. Сторож удивленно посмотрел на меня, покачал головой и вздохнул:

— С тобой, брат, что-то неладное творится!

Я промолчал.

— Не куришь?

— Курю.

— Зачем же выбросил?

— Не знаю.

— Табак не понравился?

— Понравился.

Старик промолчал.

— Какой сегодня день? — вдруг спросил он.

— Понедельник.

— Тяжелый день — понедельник. Понедельник и суббота!

— А почему суббота?

— В субботу, в Верхнем квартале... Ты Кола знаешь? Кривого Кола?

— Нет.

— Сторож он. Вроде меня.

— Понятно...

— Так вот, в субботу, в Верхнем квартале... Который сейчас час?

— Около четырех, наверно...

— То было в два... Подходят, значит, к Кола двое парней — вроде тебя. Кола — сторож, вроде меня. Но у него магазинчик пустяковый, а у меня — гастроном. Так вот, подходят и просят закурить. Достает, значит, Кола табак и протягивает им, ну, как я—тебе... А они тот табак — в глаза бедному Кола! Пока Кола глаза протирал, парни ему рот завязали, ружье отняли. У него, правда, и ружье-то пустяковое — «гекко», а у меня — «централка»... Завязали, значит, рот и говорят: смотри, мол, ни звука, иначе—убьем! Кола подумал: «Какой там звук с завязанным-то ртом», и промолчал.

— Потом?

— Потом парни взломали дверь магазина, пошарили кругом, надавали Кола тумаков — дескать, какого черта ты тут торчишь, когда ма-

газин пуст! А Кола подумал, что полный магазин ему бы не доверили, и снова промолчал.

— Что же они взяли?

— Весы и десять гирь — от стограммовых до двухкиловых. И еще большое зеркало из кабинета завмага.

— Как же теперь?

— А так. Пока ищут воров, Кола платит за похищенный товар.

— Что говорит милиция?

— Милиция — не знаю, а Кола говорит, что если те парни придут еще раз, он обязательно их узнает... Вот и все, — закончил старик свой рассказ и в знак доверия протянул мне свой кисет:

— Кури!

Мы оба закурили.

— Как тебя зовут? — спросил старик после недолгого молчания.

— Темо, — ответил я.

— Фамилия?

— Барамидзе.

— А меня зовут Артавазом. Армянин я!

— Да?

— Да, армянин. У тебя что, нет дома? — Артаваз пальцем почесал затылок и искоса взглянул на меня.

— Есть.

— Дом, в который человек не может войти, это не дом, — проворчал Артаваз.

— У тебя есть мать? — спросил я.

— Этого еще не хватало! — улыбнулся Артаваз.

— Давно ее нет?

— Давно.

— Сколько лет?

— Мне? Шестьдесят один, ей — не знаю.

— Жена есть?

— Нет.

— Сын?

— Был бы сын, разве я торчал бы здесь? — обиделся Артаваз.

Я промолчал.

— А у тебя? — спросил он.

— Что — у меня?

— У тебя есть мать?

— Моя мать приехала вчера.

— А ты болтаешься по улицам?

— Моя мать вернулась из ссылки.

— Откуда?

— Выпустили из тюрьмы.

— Как из тюрьмы?

— Так. Открыли дверь и выпустили!

— Слушай, парень, в своем ли ты уме? Мать вышла из тюрьмы, а ты сидишь здесь, со мной?!

Артаваз встал, снова сел. По площади, скрипя колесами, протарахтел первый трамвай. Я взглянул на небо. Ночь побледнела. Где-то вдали протяжно свистнул паровоз. Утро вступало в Тбилиси со стороны древней Нарикала<sup>1</sup>.

— Встань! — сказал Артаваз.

Я не сдвинулся с места.

<sup>1</sup> Нарикала — крепость в Тбилиси.

— Встань! — повторил Артаваз. — Моя работа закончена. Утро уже.

Я встал и медленно побрел по площади.

— Куда ты? — спросил Артаваз.

— Не знаю... — пожал я плечами.

— Подожди, и мне туда...

Артаваз перекинул ружье через плечо. Мы пересекли площадь, стали подниматься вверх по улице. Артаваз шел рядом со мной, заметно прихрамывая. Я замедлил шаг. Поеживаясь от утренней прохлады, подняв воротник плаща и глубоко засунув руки в карманы брюк. По-равнявшись с райотделом милиции, Артаваз остановился. У подъезда молодой милиционер заводил мотоцикл. Он смешно выбрасывал ногу — точно собака перед дракой. Мотоцикл, чихнув раз-другой, снова умолк. Увидев нас, милиционер выпрямился.

— Эй, Артаваз, рановато ты сегодня покинул пост! — крикнул он.

— Подумаешь, пост! Две полудохлые крысы! — пробормотал Артаваз. — Подожди меня здесь! — обратился он ко мне и направился к двери.

— Не заводится, сволочь! — выругался милиционер и в сердцах плюнул в мотор.

— Покажи его вниз по спуску, заведется, — посоветовал я.

— Мне надо туда, наверх, — ответил милиционер.

— Так ты поезжай сперва вниз, а потом поверни обратно! — объяснил я.

Милиционер кинул на меня благодарный взгляд и повернул мотоцикл.

Из милиции вышел Артаваз. Ружья с ним уже не было, — видно, оставил в дежурке.

— Кто это? — спросил я, кивнув в сторону милиционера.

— А, чудака какой-то... Каждое утро возится со своим мотоциклом...

Пошли! — Артаваз хлопнул меня по плечу.

Мы молча продолжили путь. У ресторана-подвала «Гемо» Артаваз остановился. Остановился и я.

— Спустимся, — сказал Артаваз.

Я пожал плечами и закрыл глаза.

— Спустимся! — повторил Артаваз, направляясь к лестнице. Я последовал за ним. Артаваз подошел к крайнему столу, снял тулуп, перекинул его через спинку стула и сел. Я сел, не снимая плаща. В подвале приятно пахло чесноком, вареным мясом и табачным дымом. Столы еще чувствовали, но посетители уже стали появляться один за другим.

Подошел официант и равнодушно стал у стола.

— Два хаши<sup>1</sup>, две водки, один лимонад! — распорядился Артаваз. Официант записал.

— Хаши чтобы было с копытами! — предупредил официанта Артаваз.

— У коровы четыре копыта! — проговорил официант.

— Восемь! — поправил Артаваз. — Иди и возвращайся быстрее!

Спусти две минуты я и Артаваз старательно разводили в густом, жирном бульоне толченый чеснок.

Подвал постепенно заполнялся людьми. Со всех сторон раздавались крики:

— Один хаши, две водки!

— Еще два по сто!

<sup>1</sup> Хаши — кавказское блюдо.



— Официант! Что это — хаши или подошва?!

— Жалобную книгу сюда!

— Ты что, смеешься? Где мясо?!

Официанты равнодушно улыбались, разносили миски с дымящимся хаши, стучали костяшками счетов.

— Ну, дай бог! — сказал Артаваз, чокаясь со мной.

— Дай бог! — сказал я.

Выпили.

— Можно? — спросил высокий, худой, бледный интеллигент, подойдя к нашему столу и опершись руками о спинку свободного стула.

— Нельзя! — отрезал Артаваз.

— Э? Почему же это?

— У меня — тиф, у него — чахотка! — сказал Артаваз, показав на меня. Худой подозрительно взглянул на нас и отошел.

— Официант! — крикнул Артаваз.

Официант подошел.

— Унеси-ка этот стул и принеси еще два по сто!

Официант унес свободный стул и вернулся с бутылкой водки.

— Что останется — возьму обратно...

Артаваз налил.

— Выпьем, мой...

— Темо, — подсказал я.

— Выпьем, мой Темо, за наше знакомство!

— Выпьем! — согласился я.

Выпили. Артаваз налил еще.

— Это, дорогой Темо, за человека, который ночью ходит, ищет человека! За человека, который коротает ночь в ожидании человека! И еще — за человека, который ночью не спит — то ли ему не спится, то ли не хочет заснуть — и ждет не дождется рассвета... Выпьем за ночь, которая близится к концу!

Артаваз выпил, закусил куском мяса и уставился на меня. Я молча выпил. Артаваз снова налил, и я понял, что он не станет пить, пока я не выскажусь. Я поднял стакан.

— Ты, дядя Артаваз, ждешь рассвета. Я сейчас пьян. Сколько тебе лет, дядя Артаваз?

Артаваз молчал.

— Тебя спрашиваю! Сколько тебе лет?

— Двести!

— Вот видишь, двести лет... Мне — двадцать. Сегодня — день моего рождения! Тебе двести лет, и ты ждешь рассвета, а я... Почему ты смотришь на меня? Меня пугает рассвет. Понимаешь? Боюсь его! Понимаешь? Нет, нет, не понимаешь! Я боюсь рассвета, боюсь возвращения домой! Ты знаешь, почему? Не знаешь?

— Почему, парень, почему? — спросил тихо Артаваз, и глаза его наполнились слезами.

— Потому, что она ждет меня. Она сидит на кровати в длинной белой сорочке и ждет. Чужая, чужая, совсем чужая женщина! Ты понимаешь, что значит — чужая? Эта женщина — моя мать! Я не видел ее двенадцать лет! Теперь она ждет, чтобы я сказал ей «мама!» А я не могу. Стесняюсь! Нет, не стесняюсь — боюсь! Не боюсь — отвык! Понял? — Артаваз кивнул. — Вот так...

Я выпил. Артаваз долго смотрел на меня, потом поднял свой стакан.

— Выпьем, Темо, за мать, которая двенадцать лет не видела сына, двенадцать лет ждала его, наконец все же разыскала свою плоть и на-

звала ее сыном. Выпьем за мать, которая ночью не спит, не потому, что не хочет заснуть, а потому, что ей не спится, потому, что она ждет наступления утра... Выпьем за ночь, которая близится к концу!..

Артаваз осушил стакан до дна. Я взялся за бутылку. Артаваз прикрыл рукой мой стакан.

— Хватит!

Я поставил бутылку.

— Официант! — позвал Артаваз.

Подошел официант.

— Счет!

— Девяносто рублей! — выпалил официант, не сморгнув глазом. Артаваз бросил на стол сторублевку и встал.

— Спасибо! — улыбнулся официант.

— На здоровье, — кивнул ему Артаваз и стал надевать тулуп.

...Зал был пуст. Уборщицы убирали со столов.

Я был сильно пьян и, чтобы не упасть, ухватился за Артаваза. Он осторожно вывел меня по лестнице и прислонил к дереву.

— Можешь идти?

— Да!

— Ну так иди, только осторожно!

— Дядя Артаваз, а ты не пойдешь?

— Куда, парень?

— Ко мне!

— К тебе? Пойду, конечно. Только не сегодня, в другой раз.

— Сейчас!

— Сейчас я иду на кладбище!

— Зачем?

— Взглянуть на могилу матери...

— И я с тобой!

— Ты иди домой, я — на кладбище...

— Дядя Артаваз!

— Ну?

— Разрешите поцеловать тебя!

Артаваз подошел ко мне, вытер ладонью губы и поцеловал меня в лоб. Я не успел ответить — Артаваз быстро повернулся и ушел. Он шагал тяжело, согнувшись в плечах и раскачиваясь, — видно, старик тоже опьянел. Перейдя улицу, Артаваз оглянулся.

Я стоял, не двигаясь, и смотрел на него. Артаваз махнул рукой, повернулся и пошел вниз, по спуску...

Я побрел вперед, шатаюсь, натываясь на стены и деревья. Водка делала свое. Стыдно! А ну, попробую идти ровно, совсем ровно! Хотя бы вон до того дерева! Так. Хорошо... Теперь до другого... Хорошо...

В этот ранний утренний час прохожих на улице было мало.

— Простите, сколько времени? — остановил я одного.

— Семь! — ответил он быстро, даже не взглянув на часы.

Я не обиделся. Что ж, быть может, у него не было часов, или просто обманул меня. Бывает... Я сам иногда поступаю так, чтобы поскорее отвязаться от пьяного...

— Простите, у вас не найдется закурить? — подошел я к другому прохожему. Тот недовольно вздохнул и поспешно протянул мне пачку папирос. У него, конечно, есть и спички, но вряд ли даст прикурить.

Чего доброго, еще отругает меня, а то и даст по морде.

— Благодарю вас! — поклонился я.

— Не стоит, не стоит! — выпалил он и быстро удалился.

Я вышел на улицу Меликишвили. Продавцы открывали двери магазинов.

— Извините, не найдутся ли у вас спички? — подошел я к одному из них. Тот молча достал из кармана плоскую пачку спичек и подал мне. Я закурил папиросу и протянул спички продавцу.

— Оставь у себя, у меня есть еще, — сказал он и вошел в магазин.

— Спасибо! — поблагодарил я и ушел.

Вот и подъезд моего дома... Ступенька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая... Интересно, сколько всего ступеней? Никогда не считал... Вру! В детстве я считал их каждый день. Забыл! Я возвращаюсь назад и начинаю считать ступени. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать... Я живу на четвертом этаже, значит одиннадцать восемь раз. Сколько же это получается — одиннадцать на восемь? Много, очень много. Пройдет вся жизнь, пока дойдешь до конца. Я нажимаю кнопку. Еще до того, пока раздался звонок, открылась дверь. В дверях стояла мать, моя седая, красивая мать, такая красивая, как и двенадцать лет тому назад, когда она была самой красивой на свете матерью.

— Здравствуй, мама! — сказал я.

Она улыбалась. По ее щекам текли слезы и собирались у дрожжащего подбородка.

— Здравствуй, мама! — повторил я.

ГУЛИКО

Еще на Лоткинской горе весна, а в городе — лето в разгаре. Тбилиси горит. Дымится асфальт. Раскаленное солнце шагает по крышам, заглядывает в окна, потом повисает над городом и... надолго застывает. Мтквари<sup>1</sup> мелеет с каждым часом и наконец превращается в ручеек, — третьего дня какой-то нахал у Мухранского моста переходил реку, даже не скинув обувь... Да, в Тбилиси — лето, и сидеть в комнате — немыслимо.

Я встал до восхода солнца. Мать на кухне готовила чай.

— Звонят, сынок.

Я открыл дверь. Вошел Гурам и направился прямо на кухню.

— Здравствуйте, тетя Анико! — сказал он, присаживаясь к столу.

— Здравствуй, сынок!

— Слышал, Темо? Черчилль бряцает оружием!

— Не может быть! — удивился я.

— Не веришь — послушай радио! — иронически улыбнулся Гурам.

— А что — радио?

— Черчилль, говорит, бряцает оружием.

— Ну и что дальше?

— Ничего. Доставши меч — должен ударить! — изрек Гурам.

— Кому же он угрожает, сынок? Что говорит радио? — спросила мать.

— Нам, тетя Анико, нам!

— А ты что, по войне соскучился? Не надоели тебе очереди за хлебом и керосином? — спросил я и отпил чай.

— К черту! Пропади все пропадом! — воскликнул Гурам.

— Это почему же?

— Потому, товарищ Барамидзе, что устал я! Устал от вечной перелопатки, от хлопанья ушами на экзаменах, от постоянного страха потерять стипендию! Опротивела вечная дрожь в коленях! Надоело вы-

<sup>1</sup> Мтквари — грузинское название Куры.

прашивать несчастную тройку! Хватит! Статистики мне не сдать — это совершенно ясно! А начнись война, хоть будет на кого свалить свою беду — на Черчилля!.. Подумать только, от отца родного покойдет!

— А что отец?

— Издевается! Я сам, говорит, во всем виноват. Следовало, говорит, отдать тебя в школу для дефективных, ходил бы ты сейчас с золотой медалью!

— Неужели? — усомнился я.

— Смейся, смейся, а там, брат, не учение — лафа! Идет, скажем, экзамен. На стене вывешены разные рисунки: яблоко, груша, персик. Выходишь отвечать, тебя спрашивают: — Ну-ка, Барамидзе, подумай хорошенько, не торопись: что это такое? — и показывают яблоко. Ты всматриваешься в рисунок и отвечаешь: — Яблоко, уважаемый учитель! — Молодец, молодец! — радуется учитель и ставит тебе пятерку. Если яблоко назовешь грушей — получишь четверку, скажешь — персик, — выставят тройку.

— А если сказать компот?

— Ну, с компотом — прямо в аспирантуру!

— Когда же ставят двойку? — засмеялся я.

— Это когда яблоко называют трамваем.

— В таком случае, сынок, ты действительно получил бы золотую медаль! — утешила мать Гурама. Все засмеялись.

Быстро покончив с чаем, мы собрались уходить. Я взял конспекты.

— Скоро вернетесь? — спросила мать.

— Сегодня будем заниматься до утра! — ответил Гурам.

Сбежав вниз по лестнице, мы сели в пятый номер трамвая, доехали — разумеется, без билета — до крытого рынка, там пересели на десятый номер и, также без билета, благополучно добрались до Нахаловки<sup>1</sup>. Сойдя с трамвая, мы пешком двинулись вверх по Лоткинской горе — туда, где пока еще была весна, где стоял знакомый домик со злым петухом и доброй собачкой в небольшом тенистом дворике и где жила хорошая, очень хорошая девочка Гулико.

Гулико — наша однокурсница. Спасаясь от городского зноя, я и Гурам занимаемся у нее.

Во дворе Гулико прохладно, и кроме того, нам просто приятно ее общество. Комитет комсомола поручил Гулико следить за правильной балансировкой двоек и троек в наших матрикулах, и до сих пор она кое-как справлялась с поручением. Но в последнее время дело осложнилось: удельный вес двоек в нашем учебном балансе резко увеличился. О том, что к вершинам науки ведет не широкая столбовая дорога, а узкая каменная тропа, мне с Гурамом было хорошо известно еще с первого курса, поэтому мы честно и добросовестно старались не пропустить ни одного слова из того, о чем сейчас Гулико рассказывала нам. А рассказывала она о восстании матросов на броненосце «Потемкин». При этом описание горячего флотского борща со злополучными червями, из-за которых, собственно, и началось восстание, получилось столь живым и ярким, что у меня потекли слюнки.

Гулико листает конспект и временами поглядывает на нас, проверяя степень нашего прилежания. Гурам сидит за круглым столиком, положив щеку на локоть и прикрыв глаза, — не поймешь, слушает он или дремлет. Я сижу под алычой, прислонившись спиной к ее прохладному стволу, и не свожу глаз с красивой головки Гулико. Косые лучи солнца

<sup>1</sup> Нахаловка — один из районов города.



играют в ее золотистых локонах, и кажется, что волосы вот-вот вспыхнут.

— Гулико! — вдруг вырвалось у меня.

— Ну? — спрашивает она, не поднимая головы.

— Ничего.

— А все же?

— Пересядь, иначе волосы загорятся! — смеюсь я.

— Очень смешно! — говорит Гулико и продолжает читать.

Гурам, словно ленивый кот, нехотя приоткрыл один глаз, потом извлек из кармана папироску и жестом попросил у меня спички. Я глазами показал на голову Гулико. Гурам медленно встал, подошел к Гулико, приложил папироску к ее рыжим волосам и сильно затянулся.

— Хватит вам дурака валять! — рассердилась Гулико. — Не хотите заниматься — черт с вами! Я этот конспект знаю наизусть!

— Добрая наша, хорошая, красивая, умная Гулико, хватит нам просвещаться, пойдем погуляем! — взмолился Гурам.

— И ты так думаешь? — спросила меня Гулико.

— Давно уже, повелительница, да не смел признаться! — склонил я голову.

Гулико улыбнулась и закрыла тетрадь.

— Мама! — позвала она.

— Что, доченька? — выглянула в окно тетя Тамара.

— Мама, мальчики уходят. Я провожу их. Если задержусь, не беспокойся.

— Идите, дочка. А как с вашим конспектом? Неужто все выучили?

— Задайте любой вопрос! — напыжился Гурам.

— Скажешь, тоже! Много я понимаю в ваших конспектах!

— Нехорошо, нехорошо, девушка! Подготовьтесь как следует! Осенью придете на экзамен! — сказал наставительно Гурам. Тетя Тамара улыбнулась.

— Мы пошли, мама!

— Не опаздывай!..

\* \* \*

С верхней площадки фуникулера ночной Тбилиси похож на опрокинутое, усеянное звездами небо. Все знакомые звезды и созвездия — там, внизу, под вами. Вот Большая и Малая Медведицы, вот Волопас, Весы, Волк, Водолей. Вот разлитое легким туманом, словно Млечный путь, мерцание далеких огней. То и дело вспыхивают и гаснут, подобно кометам, автомобильные фары. Сам фуникулер похож на несущуюся в космосе нашу планету: всюду, куда не кинешь взгляд, чернеет небо, сверкают мириады звезд. И кажется человеку, что не земля — он сам ступок живой, дышащей, мыслящей, мечтающей материи, несется в неизведанные дали бескрайней Вселенной, в вечном, бесконечном поиске радости, счастья, красоты, любви...

\* \* \*

Я не знаю, о чем думает Гулико. Она стоит у края площадки, облокотившись о перила, и смотрит вниз, на Тбилиси. Мне безразлично, о чем думает Гурам, но Гулико... Мне хочется, чтобы она думала о том же, о чем и я. Боже мой, сколько раз я спрашивал ее об этом в надежде услышать желанный ответ!

Увы, мысли ее всегда оказывались далекими от моих! Вот теперь я думаю: если б Гурам вдруг вздумал уйти!.. «Останься», — скажет Гу-



лико... Гурам все же уйдет. Тогда Гулико тоже захочет уйти... Я попрошу ее остаться. Она согласится... Тогда я скажу ей все! Скажу, что вот уже два года люблю ее, что все время думаю о ней, что она может не любить меня — для меня это ничего не значит... Но нет, я знаю, Гулико любит меня... Я думаю...

— Я пошел! — сказал вдруг Гурам и вздохнул. — Утром рано вставать, опять за керосином нужно идти!..

— Погоди немного, вместе пойдем, — сказал я.

— Не могу.

— Не можешь — уходи. Мы останемся. Правда, Темо?

— Конечно! Какой смысл сейчас спускаться в город? Земля горит!

— Ладно. Я пошел. Пока!

— Пока!

— Утром зайдешь!

— Ладно.

Гурам ушел.

Я смотрю на Гулико, она — на Тбилиси. Я думаю о Гулико. О чем думает она? Спросить?

— Темо!

— Что, Гулико?

— О чем ты думаешь?

От неожиданности я растерялся:

— Ни о чем... О чем мне думать?.. А ты?

— Я? Я думаю о тебе, — сказала Гулико и улыбнулась.

— Вот сейчас, в эту минуту?

— Вот сейчас, в эту минуту!

— А еще о чем? — спросил я с замиранием сердца.

— Еще о себе.

— Еще?

— Больше ни о чем. Думая о тебе, я думаю и о себе. И все. На большее, видно, ума не хватает.

— Ты думаешь обо мне вообще или только сейчас?

— Вообще.

— Часто?

— Часто.

— Очень часто?

— Ну... Не очень... — Гулико опустила голову и стала разглядывать свои тонкие прозрачные пальцы. Я испугался и замолчал, но Гулико заговорила сама.

— Я думаю о тебе, Темо... Иногда... И долго...

Я придвинулся к Гулико. Мой локоть коснулся ее локтя. Гулико вздрогнула, но не отодвинулась.

— Гулико!

Она взглянула мне в глаза долгим, пристальным взглядом.

— Гулико, что ты думаешь обо мне? — произнес я чуть слышно дрожащим голосом.

— То же, что и ты обо мне...

Сердце подступило к моему горлу, дыхание сперло. Я обнял Гулико. Она прильнула к моей руке и закрыла глаза.

— Гулико, знаешь, что я о тебе думаю? Сказать?

Она отрицательно покачала головой. Но меня уже понесло, понесло, как сорвавшуюся с горы глыбу, которая долго лежала у самого обрыва, чудом сдерживаясь, и наконец покатилась, покатилась с грохотом, сметая все на своем пути, вырывая кусты, ломая деревья.

— Летом я поеду на море... Нет, сперва — в горы. Там овцы, пастухи... Потом — на море. А может, в деревню поеду... Но море... Я люблю море, Гулико... Море и солнце. Солнце и море — это два чуда. Правда ведь? Конечно, правда! Я могу сидеть у морского берега, спиной к морю, и смотреть, как всходит солнце... Потом повернуться к морю и смотреть, как солнце садится в море... И так всю жизнь... Летом мы вместе поедem на море. Я положу голову на твои колени и весь день буду смотреть на тебя. Ты смотри на море, на солнце, но только не на меня. Я боюсь твоего взгляда, боюсь и радуюсь ему... Лучше уж я буду смотреть на тебя, а ты лишь иногда — на меня. Да? Мы вместе поедem на море, правда, Гулико?

— Да, Темур, да, — прошептала Гулико и чуть приоткрыла глаза. Я повернул ее лицом к себе, запустил руки в ее мягкие волосы и привлек к себе. В глазах Гулико сверкали слезы, сверкало огромное, невысказанное счастье и еще какое-то незнакомое мне, таинственное чувство, которого я всегда боялся. И чтобы перебороть этот необъяснимый страх, я прильнул к глазам Гулико нежным, долгим поцелуем...

...Потом все стало на свои места. Там, внизу, по-прежнему мерцали огни ночного Тбилиси, похожего на опрокинутое звездное небо. Кругом чернело бескрайнее небо, усыпанное мириадами блесков, и я сам — сгусток живой, дышащей, мыслящей, мечтающей материи — уже не был одинок в своем нескончаемом полете в неизведанных просторах Вселенной в поисках радости, счастья, красоты, любви...

---

## МАТЬ

Я тихо приоткрыл дверь. Мать сидела у окна и глядела на Варазисхеви. Она всегда ждала меня. Когда бы я ни вернулся домой, ждала с печальными глазами, в которых угадывался немой упрек. Я чувствовал, что совершаю преступление по отношению к матери, уходя без предупреждения, возвращаясь поздно, но поступать иначе не мог. В течение двенадцати лет никто меня не спрашивал — куда я иду, когда вернуться? И малейшее покушение на мою свободу сейчас меня раздражало. Мать хорошо понимала мое состояние и поэтому с каждым днем становилась все печальней и молчаливей. Мы мучались оба, мы не спали ночами, и когда, бывало, я тайком бросал взгляд на лежавшую в постели мать, я видел ее глаза — печальные, влажные, полные невысказанного упрека. Она никогда ни о чем меня не спрашивала, ничего не рассказывала. Молчал и я.

Но сегодня был особенный день. Мне нужно было высказаться, облегчить душу, мне нужен был собеседник. Я подсел к матери, положил руки ей на колени и посмотрел в ее умные карие глаза.

— Что, сынок? — спросила мать и погладила меня по голове.

— Мама, ты помнишь море? Я помню. В детстве ты возила меня в Кобулету.

— Да, сынок.

— И мы вместе смотрели на заход солнца.

— Помню.

— Море и солнце — два чуда, правда, мама? Солнце — это такое чудо, смотреть на которое никогда не надоест. Правда, мама?

— Нет, сынок! — сказала мать, закрыв глаза и покачав головой. Она долго молчала, думая о чем-то своем.

— Мама!

— Солнце — чудо, — продолжала мать, — но ты не видел настоящего солнца... Выжженная солнцем бескрайняя степь... Мертвые камни,

деревья, земля... Пересохшее горло... Остывшие мозги... Есть в жизни минуты, когда человек ненавидит солнце и радуется его заходу, надеясь, что завтра оно не будет столь безжалостным... Понял, сынок?

Я не ответил. Мать грустно улыбнулась.

— А солнце, которое светит тебе, — оно, конечно, чудо, и смотреть на него не надоест до самой смерти...

Мать провела горячей рукой по моему влажному лбу. Я опустил голову на ее колени.

— Мама, я уже не маленький... Ты по-прежнему видишь во мне восьмилетнего мальчика, а ведь мне — двадцать. Ты всему удивляешься, тебе не нравится все то, что я считаю хорошим, тебя пугает все то, что мне доставляет радость. На все ты смотришь с подозрением. Забудь, мама, прошлое, или скажи — как мне жить?

— Этого забыть нельзя!

— Чего — этого? Что мне уже не восемь лет?

— И этого тоже, — сказала мать, и подбородок у нее задрожал.

— Почему, почему же, мама!

— Потому, что для меня ты остался восьмилетним мальчиком.

— Но ведь мне двадцать, двадцать лет, мама!

— Для меня это ничего не значит.

— А то, что я сегодня... сегодня...

— Что — сегодня?

— Сегодня я сказал Гулико, что она мне дороже всего на свете, что мы вместе поедem на море, что я положу голову на ее колени, и мы весь день будем смотреть на солнце, которое ты не любишь, и что мы всю жизнь будем вместе... Это для тебя тоже ничего не значит, мама?

Мать встала, одной рукой обняла меня и привлекла к себе, другой стала перебирать мои волосы и тихо зашептала:

— Значит, как не значит, сынок! Это — самое важное для меня, мой мальчик! Лишь бы ты был со мной, был бы родным, моим, не чужим! Слышишь? Не будь чужим для меня, сын мой, и я забуду все, все! Скажи мне, что ты любишь меня, что мы всегда будем вместе! Скажи, мой мальчик, успокой свою несчастную мать!..

Мать опустилась на стул, закрыла лицо руками. Она не плакала, только руки у нее дрожали. Я почувствовал, как к моему горлу подступает горький комок, и сжал челюсти, чтобы не расплакаться.

Мать скоро успокоилась, опустила руки, выпрямилась.

— Мама, — начал я, — я люблю Гулико вот уже два года. Представляешь, целых два года!

— Это не много, сынок! — сказала мать с улыбкой.

Я растерялся.

— Я и тебя очень люблю... — произнес я неуверенно.

— Знаю... — опять улыбнулась мать.

— Но только...

— Но только Гулико ты любишь еще сильнее и хочешь быть всегда с ней, — прервала мать.

— Нет!

— Да!

— Гулико я люблю иначе. Гулико я полюбил сейчас, а тебя... Тебя я люблю давно...

— Да. Давно. Так давно, что уже забыл про это...

— Мама, — вдруг спросил я, — ты любила папу?

Мать закрыла глаза и ничего не ответила. Я понял, что сболтнул страшную глупость.

— Ты помнишь отца? — спросила она.

Я задумался. Отец... Неужели я не помню отца?... Как же, среднего роста, красивый, с иссиня-черными волосами... Носил кожаное пальто и сапоги, иногда — тупоносые туфли и узкие брюки... Был строг до чрезвычайности... Если у кого была к нему просьба, подсылали меня. Меня он обожал... Что еще? Больше ничего... Я закрываю глаза, хочу представить себе такого человека — моего отца... Ничего не вижу... Пустота, абсолютная, пугающая пустота... Значит, все это — с чужих слов, по рассказам других людей. Я ничего не помню и, как бы ни старался, не вспомню...

— Нет, мама, не помню... Думал, что помню...

— И снимка его не видел?

— Нет.

Мать подошла к шкафу, открыла сумку, достала какую-то фотографию и положила передо мною. Я удивленно смотрел на старый, пожелтевший кусок картона, на котором был изображен голенький, весело улыбающийся годовалый малыш, лежащий на медвежьей шкуре.

— Кто это?

— Твой отец... Они приняли это за тебя...

— Что еще? — спросил я и почувствовал, как по моей коже побежали мурашки.

— Ничего. Это — твой отец, а я — твоя мать.

Я подошел к матери, прильнул головой к ее груди и заплакал. Она стояла молча, не успокаивая меня.

— Прости меня, мама. Прости за боль, которую мы тебе причинили — и я, и мой отец... Я все сделаю ради тебя, все, что ты пожелаешь... Хочешь, убью человека, хочешь, забуду Гулико, хочешь, застрелюсь... Только прости меня, прости...

Мать нежно гладила меня по голове и молчала. Потом, словно очнувшись, она тихо заговорила:

— Нет, сынок, ничего мне от тебя не надо... И убивать ради меня не следует никого — ни себя, ни другого. И Гулико не нужно забывать. Люби, если любишь и если она любит тебя. Вы пока не понимаете и долго еще не поймете — что такое любовь... Жизнь моя еще не окончена, но дорога моя, кажется, подошла к концу... Пока жива, не оставлю тебя, не дам споткнуться. Понадобится — протяну руку помощи... Но у тебя свой путь, сынок, и ты должен следовать по этому пути...

— Но как, мама, как?

— Не знаю... Кабы я знала...

— А все же? Что я должен делать?

— Все, что называется честностью и добром.

— Что же это?

— Не знаю. Люди иногда совершают зло, думая, что творят добро...

Мать умолкла, отошла к окну и стала смотреть на Варазис-хеви. Я приблизился к ней, стал рядом. Она догадалась, что я ждал от нее еще чего-то, повернулась ко мне и улыбнулась.

— Только сперва научись отличать добро от зла...

— Как?

— Я не знаю. Жизнь сама научит тебя.

— А теперь? Что мне теперь делать?

— Теперь? — Мать задумалась. — Иди спать, сынок...

Она поцеловала меня в лоб. Я молча разделся и лег...

Утром, проснувшись, я увидел сидевшую у окна мать. Положив голову на локоть, она сладко спала. Губы ее улыбались.

Я оделся, взял книгу и тихо направился к двери.

— Уже встал, сынок? — услышал я голос матери.

Я повернулся и улыбнулся в ответ.

— Куда ты идешь?

Впервые в жизни этот вопрос доставил мне радость: кто-то интересуется, кто-то хочет знать — куда я иду, когда вернусь! Боясь растратить тепло этих трех обыкновенных, но дорогих сердцу слов, я положил книгу и остался дома...

## ПАРНАС

В университете числилось около трех тысяч студентов. Половина их — училась, четвертая часть — ждала получения диплома, остальные — переходили с факультета на факультет, выбирая профессию, писали заявления, запрашивали академические отпуска, перед экзаменами представляли справки о болезни, бродили по коридорам, пели, играли, боролись и так далее...

Мы, любители литературы, создали свой официальный кружок «Парнас», который возглавлял официальный руководитель — уважаемый Шалва Багратович. «Парнас» представлял собою литературное объединение пяти критиков, около двадцати поэтов, шести прозаиков, двух очеркистов и девяти переводчиков. Я, разумеется, принадлежал к группе поэтов, хотя иногда пробовал силы также и в прозе. По пятницам мы собирались в 94-й аудитории, знакомили друг друга и руководителя с результатами наших недельных творческих мук, а в месяц раз лучшие из произведений выносили на суд общественности — многочисленных поклонников муз, до отказа заполнявших наш студенческий клуб.

Гурам не пропускал ни одного собрания кружка. Он не был ни поэтом, ни прозаиком, ни очеркистом, ни критиком и даже не переводчиком. Он называл себя нежно и ласкательно «дилетантом» и помогал мне в подборе рифм.

Сегодня пятница. Я и Гурам сидим в последнем ряду и ждем, когда сорок гениев заполнят аудиторию. Они входят странной, рассеянной походкой, не замечая никого, забывая поздороваться. Потом, очнувшись, спохватываются: «Ах, ты здесь? Извини, пожалуйста, задумался»...

— Эй, Ираклий! — окликнул Гурам рыжего поэта с кипой книг под мышкой, который направился к задним рядам и сел перед нами, так и не заметив нашего присутствия. — Спустишься с Олимпа, очнись на минуту!

— А, это вы? Как это я вас не заметил? — удивился поэт.

— Ничего. Где ты был? — спросил Гурам.

— Дома.

— Нет, где ты был сейчас, в эту минуту? — не отставал Гурам.

— Так. Думал о чем-то.

— О чем?

— Ну что ты пристал? — обиделся Ираклий. — Думал!

— Стихи сочинял?

— Нет.

— Рифму искал?

— Как ты догадался?

— Какая тебе нужна рифма? — обрадовался Гурам.

— Понимаешь, я сейчас работаю над циклом стихов о Самгори, и вот... одно место...

— Не клеится?

— Да как сказать, рифма не идет!

— Какая?

— Ме-фис-то-фель! — произнес Ираклий по слогам.

Гурам разинул рот от удивления.

— Ошалел?

— Поэты — они все по-своему ошалелые! — глубокомысленно изрек Ираклий. Гурам расхохотался.

— Перестань ржать! — прикрикнул я на него. — Подбери-ка лучше рифму!

— Слушай, — обернулся Гурам к Ираклию, — каким это образом Мефистофель очутился в Самгори?

— В самом деле! — поддержал я Гурама.

Ираклий не ответил. Уставившись в потолок, он невнятно бормотал: Мефистофель... Мефистофель... Мефистофель...

— Очнись, Мефистофель! — толкнул его Гурам. — Прочти строфу!

— «И властвовала засуха в Самгори,

Словно исчадь ада — Мефистофель...»

— Понятно... Значит — Мефистофель? Пожалуйста: картофель!

— Не годится! — покачал головой Ираклий.

— Аристотель!

— Не подходит!

— Пантофель! Известная артистка — Нечецкая!

— Нет!

— Ну, тогда — идиот!

— Не подходит!

— Зато к тебе подходит, болван! — взорвался Гурам. — Нашел с кем сравнивать засуху — с Мефистофелем!

— Успокойся! — обнял я Гурама. — Пожалей человека!

Аудитория заполнилась. Вошел руководитель. Он посмотрел на часы, оглядел комнату и спросил:

— Арчил здесь?

— Здесь!

— Тамаз?

— И Тамаз здесь!

— Нодар?

— Здесь я!

— А где Тариель?

— Здесь он, здесь!

— Ну, здравствуйте, товарищи!

— Здравствуйте, Шалва Багратович!

— Начнем? — спросил Шалва.

— Начнем, пожалуй! — ответили хором все, кроме Ираклия — он все еще искал рифму.

— Как дела, Тариель? — спросил Шалва.

— Благодарю вас, идут дела! — ответил Тариель вставая.

— Пишешь?

— Так, кое-что...

— Пиши, пиши, брат. Кому, как не вам, писать, творить, обогащать нашу литературу?

— Я постараюсь, — обещал Тариель.

— Ну, смотри, не подведи! — подбодрил его Шалва и опять посмотрел на часы.

— А ты как, Гурам!

Гурам встал.

— Не смею роптать на милость божью!

— Значит, не жалуешься?

- Нет!
- Отлично! Ну как, начал писать стихи?
- Нет.
- Прозу?
- Нет.
- Переводишь?
- Нет.
- И критических статей не пишешь?
- Нет, уважаемый!

— Почему? Все пишут, чем же ты хуже других? Взять хотя бы Отара. Человек работает и в драме, и в поэзии, и в прозе, и в критике, и переводами занимается... И вообще, трудится товарищ... Потрудишься и ты!

- Обязательно! — ответил смущенный Гурам.
- Так. А теперь приступим к делу. Кто сегодня отчитывается?
- Я! — выпалил Ираклий.
- Выйди-ка сюда, — попросил Шалва.

Ираклий вышел, поднялся на кафедру, положил руки на общую тетрадь — точно так, как когда-то свидетели, положив руки на Библию, обещали говорить правду и только правду, — и уставился в потолок. Наступила тишина. Молчала аудитория, молчал Ираклий. Я стал считать про себя. Дошел до шестидесяти, а Ираклий все молчал.

— Шестидесят один, шестидесят два, шестидесят три... — продолжал я.

- Ну? В чем дело? Чего ты ждешь? — спросил Ираклия Шалва.
- Музы! — откликнулся Гурам.

— Главное — начать. А муза никуда не уйдет! — ответил Шалва. В зале засмеялись. Ираклий встрепенулся и начал:

— В прошлую неделю, выйдя из дому, я подошел к киоску и попросил у продавца газету...

- Что это, рассказ? — испугался Шалва.
- Предисловие...

— Стихотворение не нуждается в предисловии. Свой «Мерани» Бараташвили начинает безо всякого предисловия. Не так ли, Гурам?

— Так точно! — подтвердил Гурам.

— Я — не Бараташвили! — объяснил Ираклий.

— Конечно, кое-какая разница заметна! — согласился Шалва. Зал грохнул.

— Смеетесь? — прищурил глаза Ираклий.

— Что ты, Циклаури! Продолжай, пожалуйста! — успокоил поэта Шалва.

— А вы знаете, о чем писала газета?

— О чем же?

— О том, что Самгори охвачен волной великих строек коммунизма!

— Что же это получается, Циклаури: купил прошлогоднюю газету и еще обижаешься на нас?

Ираклий запнулся, взглянул на газету, которая на всякий случай лежала тут же перед ним, и вовсе умолк. Шалва решил прийти на помощь поэту:

— Ничего, ничего! Что же было дальше?

— Потом я написал цикл стихов о Самгори...

— Вот и отлично! Прочти их!

Опять наступила тишина. Я начал считать: раз, два... три... Но тут Циклаури заговорил.



## Утро в Самгори



Землю эту засуха топтала,  
Ветер злой носился, как коса,  
Горы здесь дремота омывала.  
Чудеса на свете, чудеса!

День пройдет, и степь, прогнав унынье,  
Возродится зеленью садов,  
Соберет самгорец вместе с дыней  
Помидоров красненьких улов!

Честь тебе и слава, наш Самгори!  
Пусть цветут вокруг тебя леса!  
Знаю я: журчанье волн Иори  
Оживит тебя, моя краса!

Пусть сияет в небе солнце жарко!  
Ты — земля и родина отцов!  
Знаю я: пришлешь ты нам подарок —  
Горы гордых, вкусных огурцов!

Ираклий перелистал тетрадь. Я взглянул на Шалву — он сидел в полном оцепенении.

### Диалог с самгорским крестьянином

Я: — Откуда ты, кто ты, дружище?

Крестьянин: — Я жил в горах — и гол и нищий!

Я: — Теперь живешь ты ведь привольно?

Крестьянин: — Дай бог! Есть, пить — всего довольно!

Я: — И сын, небось, тобой возвращенный...

Крестьянин: — О да! В Тбилиси он — ученый!

Ему я скромный дар земли отцов

Везу мешок самгорских огурцов!

Ираклий снова перелистал тетрадь, но Шалва остановил его.

— Скажи, пожалуйста, Циклаури: цикл стихов — о Самгори или об огурцах?

— Я еще не кончил. Разрешите продолжить!

— Читай!

Долго еще читал Ираклий. Мы слушали стихи о помидорах, огурцах, луке, водах Иори, форелях Тбилисского моря и даже о каком-то пароходе, который невесть каким образом оказался приобщенным к теме процветания самгорских огородов. «Мефистофеля» Ираклий не стал читать — за отсутствием соответствующей рифмы. Наконец он умолк.

Мы молчали.

— Мда-а... Кто следующий? — спросил Шалва.

— Я! — встал Симон Абесадзе.

— Выходи, порадуй нас! А ты садись, Циклаури!

Ираклий испуганно взглянул на руководителя.

— Садись, садись. Обсуждать будем в следующую пятницу! — успокоил его Шалва.

Ираклий походкой ревматика направился к месту.

— Ну как стихи? — спросил он нас шепотом.

- Полить их уксусом — получится отменный маринад! — ответил Гурам. Ираклий оторопело взглянул на него и отвернулся.
- Начни, Абесадзе! — обратился Шалва к Симону.
- Шумно...
- Шум — оратору не помеха! Начинай!
- Компас! — крикнул Симон.
- Удивленный столь необычным заголовком, зал умолк.
- Компас! — повторил Абесадзе.
- Какой компас? — спросил Шалва.
- Как — какой? — удивился Симон. — Обыкновенный...
- Морской или сухопутный?
- В данном случае — сухопутный.
- Слушаем!



### Компас

К северу стрелка рвется одна,  
К югу другая стремится.  
В чем тут загадка, скажите, друзья!  
В чем тут секрет таится?

Две стрелки компасу даны не зря,  
В движеньи их — смысл изначальный;  
На севере город великий — Москва,  
На юге — Гори наш славный!

**ФОТО  
ЛЕТОПИСЬ  
ДРУЖБЫ**



Лауреаты республиканской премии имени Шота Руставели Константинэ Гамсахур-  
дия и Николай Тихонов.

Симон захлопнул тетрадь и улыбнулся улыбкой победителя. В аудитории воцарилась мертвая тишина: созданный поэтом совершенно новый художественный образ ошеломил слушателей. Я взглянул на Гурама — он удивленно моргал глазами. Признаться, я и сам был растерян и ждал, какую оценку даст стихам наш уважаемый Шалва Багратович.

— Кто хочет высказаться? — вдруг спросил он.

Никто не отозвался.

— Что, не понравились стихи?

— Стихи очень интересны, но... — подал голос один из критиков.

— Так. Чем же они интересны? Говори!

— Пусть сперва скажут другие... — отступил критик.

— Ты выскажи свое мнение, а потом другие скажут.

— Свое я уже сказал. Стихи интересные. Особенно удачно найден финал.

— Чем же он удачен? — не отставал Шалва.

— Ну как же! Север притягивает стрелку потому, что на севере — Москва, а юг потому, что там — Гори.

— По-твоему, это правильно?

— Может, и неправильно, во всяком случае — поэтично! — парировал критик.

— Садись, Церодзе... Что думает Гурам?

— Ничего.

— Как же так? У тебя нет никакой мысли?

— Мысли у меня есть, но не об этих стихах.

— По-твоему, стихи — бессмысленны?

— Наоборот, очень даже оригинальны. Подобного осмысления компаса я нигде еще не встречал!

— А стихи о компасе вообще ты встречал?

— Не могу припомнить. Скорее всего — нет!



Их связывали многие годы знакомства и дружбы. На этой встрече — Георгий Леонидзе, Галактион Табидзе, Леонид Соболев, Сергей Васильев, Григол Абашидзе, Шалва Дадияни, Симон Чиковани.

— Хорошо. Садись. Если вспомнишь — скажи.

Гурам сел.

— Ну, кто еще желает?

Аудитория молчала. Шалва подождал с минуту, потом обратился

к Симону:

— Скажи, пожалуйста, Абесадзе: тебе приходилось видеть компас?

Краска обиды и оскорбления залила лицо поэта.

— Смеетесь, Шалва Багратович?!

— Это ты смеешься, брат, над нами! Разве у компаса две стрелки?!

Симон иронически улыбнулся:

— А сколько?

— У компаса одна стрелка! Понимаешь? Одна стрелка с двумя разноцветными концами!

— Для поэзии это не имеет решающего значения!

— Это имеет значение для путешественника!

— Главное — смысл образа. А его-то вы и не поняли! — вспыхнул

Симон.

— Что ж, Шекспира я кое-как понимаю, а твоего компаса не осмыслил! — улыбнулся Шалва.

— Да что вы, в самом деле! Неужели действительно не понимаете, почему стрелку притягивают север и юг?!

— Почему?

— Да потому, что на севере — Москва, в Москве — Кремль, в Кремле — Сталин!

— У Сталина — магнит в кармане, что ли?

Симон посинел.

— Товарищи! — встал Шалва. — Так писать стихи нельзя. И вообще — не надо писать стихи о компасах, биноклях и термометрах. Нужно знать — что, о чем, для кого и для чего мы пишем!

— Я прекрасно знал, о чем писал! — крикнул Симон.

— Что ты знал? Что у компаса две стрелки? Да? А что ты прикажешь делать, скажем, персиянину? Ведь для него и Москва, и Гори — все север?

— Мои стихи не для Персии! — выпалил Симон.

— Вряд ли они подойдут и для Гори...

— Я еще молод! — пустил слезу Абесадзе.

— Потому тебе и говорят по-хорошему. Будь ты постарше, разбил бы я тот компас о твою башку! — взорвался Шалва. В аудитории раздался смех.

— Вот заберу свои стихи и вовсе уйду из кружка! — пригрозил Симон.

— Только не доверяйся своему компасу, иначе домой не попадешь! — предостерег его Шалва.

В зале захохотали. Абесадзе вскочил с места и вышел, громко хлопнув дверью... Шалва несколько раз прошелся по аудитории, затем вызвал меня:

— Барамидзе, есть у тебя что-нибудь новое?

Лежавшая в кармане тетрадка со стихами вдруг обожгла меня, словно я прислонился к раскаленной печке. Я провел рукой по внезапно вспотевшему лбу и тихо произнес:

— Шалва Багратович, сегодня я не буду читать.

— Почему? — удивился Шалва.





— Я ничего не написал.  
— Почему же? Ведь прошу я всех вас — пишите!  
— А что писать, все равно вы нас на смех поднимаете! — проговорил Тенгиз.  
— Что значит — на смех?! Может, вы думаете, мне больше нечего делать, как только слушать вашу болтовню? Да я лучше почитаю Толстого, Экзюпери, Галактиона... — обиделся Шалва.

— Поэт — натура нежная. С ним нужно быть чутким! — сказал Циклаури.

— Это кто же нежные натуры? Может, ты, Циклаури? Или Абесадзе? Да запряги вас вместо волов, вы гектар земли перепашете!

— Комплекция тут ни при чем. Вы в душу поэта загляните! — подал реплику один из начинающих критиков.

— Гляжу, дорогой, и ничего не вижу!

— А вы должны увидеть, открыть! — настаивал критик.

— Я не Колумб! Я критик.

— Ведь сумел же Чавчавадзе открыть Бараташвили! — крикнул кто-то.

— Бараташвили существовал. Чавчавадзе было что открывать! Пожалуйста, будем величать друг друга Белинскими, Толстыми, Бараташвили. Ведь нам никто не поверит?

— Тем хуже для них! — заявил Циклаури.

— Циклаури, ты напиши хоть одно стихотворение, хоть одну строфу, похожую на стихи Бараташвили, и я сам, своими руками воздвигну тебе памятник рядом с памятником Руставели! Чего тебе еще?

— Дайте срок! — сказал Алавидзе.

— Сколько же прикажешь ждать? В ваши годы Бараташвили был уже мертв!

— Но Гёте написал «Фауста» в восемьдесят лет! — напомнил Гурам.

— Так что ты советуешь, Чичинадзе? Ждать, пока Циклаури исполнится восемьдесят лет и он напишет «Фауста»?

— Я имею в виду не Циклаури!

— Значит, Абесадзе?

— И не Абесадзе!

— О ком же ты говоришь?

— Я говорю вообще!

— Что значит — вообще? Значит, по-твоему, критики моложе восьмидесяти лет не должны никого критиковать? Так, что ли?

Гурам проглотил слюну и, не придумав в ответ ничего, сел.

— Ведь вы сами писали стихи и, если не ошибаюсь, довольно слабые, — съязвил начинающий критик.

— Правильно. Писал. Но мне сказали, что это — плохие стихи, и я бросил писать. Есть еще вопросы?

Вопросов больше не было. Шалва встал:

— Товарищи, я вам не враг, нет! Напишите хорошие, настоящие стихи, и я сам буду вашим первым панегиристом! Но кто, как не я, обязан сказать вам прямо, что хорошо и что плохо? Ну как не сказать Циклаури, что гордым может быть человек, животное, зверь, ну, птица, наконец, но—огурец?! Нельзя же так, товарищи! Или—компас. Подумайте, что получится, если возьмет какой-нибудь американский поэт и напишет: стрелка, дескать, тянется к северу потому, что на севере — Трумэн, а к югу потому, что там — Чан Кай-ши! Ведь север и юг есть не только у

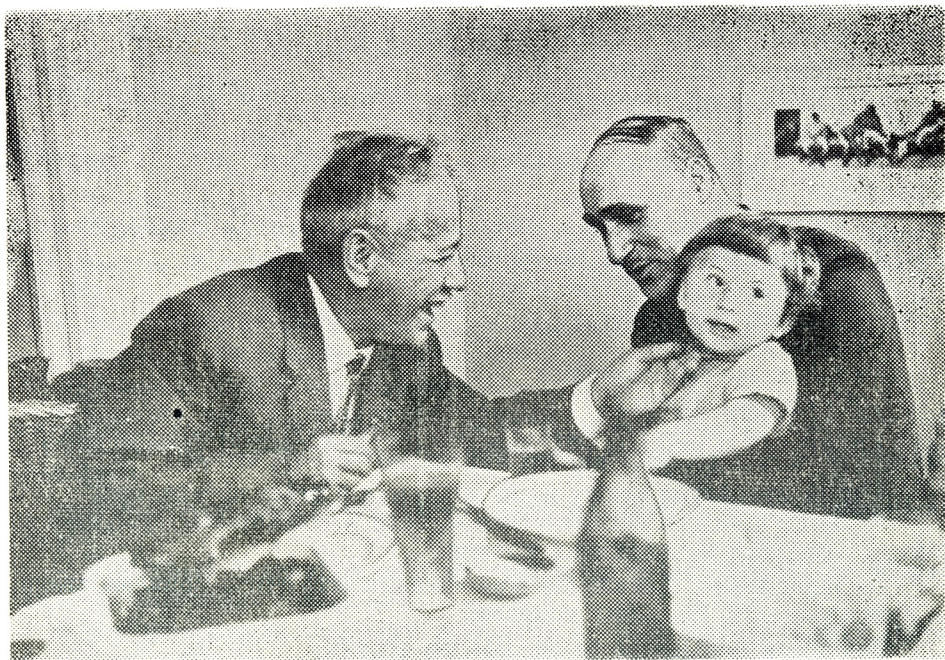
нашей страны! И вообще, товарищи, запомните: цель нашего кружка не заключается в воспитании сорока гениев! Не дай бог, чтобы в одном кружке, к тому же руководимом мною, было сорок Бараташвили, Чавчавадзе или Церетели! Не обманывайте себя. Для Грузии будет счастьем, если среди вас вырастет хоть один талантливый поэт, прозаик, критик или переводчик. А если кто не понимает этого или не верит мне, пусть встанет и идет домой!

Шалва замолчал и сел. Никто не шелохнулся. Никто не осмеливался выйти первым.

Шалва догадался об охватившей нас неловкости, встал и вышел из аудитории.

Продолжение следует

**ФОТО  
ЛЕТОПИСЬ  
ДРУЖБЫ**



Михаил Шолохов в гостях у Ираклия Абашидзе. Самая непосредственная минута. Только сын поэта заметил наведенный на него фотообъектив.

# СТИХИ

Перевод с грузинского В. Л. Лугового

## БУЯНИТ ТЕРЕК

Буйнит пьяный Терек,  
Во весь рассвет ревет.  
Вот-вот и тесный берег  
От ворота рванет!  
...И солнце над Дарьялом  
Карабкается ввысь...  
Довольствовалося малым  
Ты, сердце? Так взорвись!  
Пусть в небе дрогнет солнце —  
Ори,  
глаголь,  
реки —

Пусть это будет  
словно  
Безумие реки!  
...А нужно ли?  
Не шутка:  
Неужто же иссяк  
Ты,  
сделав от рассудка  
К рассудочности шаг?

\* \* \*

Память о незабытом —  
Кран, оставленный открытым  
В доме гулком и пустом...  
Как из сердца вырвать с маху,  
Как предать земле и мраку  
Эту память о былом?

Многолюдно, ярко в мире,  
Но в покинутой квартире  
Каплет громко и легко,  
И встает перед тобою  
Снова скомканное болью  
Собственное и чужое  
Обнаженное лицо.

\* \* \*

О боже, что есть жизнь,  
И что виной тому,  
Что на костре,  
Своими  
сложенном

Следы былых страстей,  
И нынешних, и присных?  
Иль оживить хотим  
Без видимых причин  
Сон детства:

руками,  
Пылает человек —  
И озаряет тьму  
Священный пламень тот,  
Взвиваясь языками?  
О боже, что есть жизнь,  
И что желаем мы,  
Сгорая, озарить  
Среди вселенской тьмы?  
Лицо,  
свое лицо —  
Всю глубину морщин —

майский день,  
И паруса,  
и пристань?  
Неужто тот костер,  
Тот горный постамент —  
Природы неживой  
Экспромт,  
Эксперимент —  
И, загасив огни  
Своих пустых глазниц,  
Она оставит нас  
Поверженными ниц?

\* \* \*

Оборвется  
Свет последнего окна  
И замрет,  
Как бы чонгурная струна.

Дуб у Рухи  
Среди чуткой тишины  
Нижет четками  
Коралловые сны.

Брякнет в сырости плюща  
Тайком от всех  
Старой крепости  
Проржавленный доспех.

Пошептавшись над Ингури,  
Тростники,  
На руках  
Луну поднимут из реки,

И потянутся бесшумно, не пыля,  
Бледной ночью

Бледным рядом  
Тополя.

Подари мне, дуб,  
Из четок тех  
Коралл,  
Чтобы сон меня светло околдовал!

Тише!  
Мечется Ингури, сам не свой,  
Он во сне  
Опутан лунной бечевой.



**ФОТО  
ЛЕТОПИСЬ  
ДРУЖБЫ**



С первых дней знакомства крепкая дружба связала Евгения Евтушенко с Симоном Чиковани. Они всегда искали встреч друг с другом, а тем для разговора искать не приходилось.



# СТИХИ разных лет

Первая публикация

*«И ты ко мне вернулась знаменитой» — это стихотворение написано Анной Ахматовой 6 января 1944 года, в Ташкенте, — в тот день, когда она увидела свою «Поэму без героя» в нарядной, украшенной цветком папке. Это единственное в своем роде обращение поэта к своему созданию.*

*Стихотворение «И увидел месяц лукавый» входит в цикл, который сначала назывался «Сожженная тетрадь», а затем был переименован автором в «Шиповник цветет». Под таким названием этот цикл хорошо известен читателям последнего сборника Анны Ахматовой — «Бег времени».*

*Три из публикуемых ниже стихотворений двадцатых годов: «Многим» «Предсказание», «О, знала ль я, когда в одежде белой», а также отрывок 42 года «Седой венец достался мне недаром» предназначались автором для первоначального варианта того же последнего сборника.*

*В каком году написаны строки «За ландышевый май» и являются ли они отдельным, оконченным стихотворением или частью какого-то другого — мне установить не удалось.*

Лидия ЧУКОВСКАЯ

Апрель, 1967

## МНОГИМ

Я — голос ваш, жар вашего дыханья,  
Я — отраженьё вашего лица,  
Напрасных крыл напрасны трепетанья, —  
Ведь все равно я с вами до конца.

Вот отчего вы любите так жадно  
Меня в грехе и в немощи моей;  
Вот отчего вы дали неоглядно  
Мне лучшего из ваших сыновей;

Вот отчего вы даже не спросили  
Меня ни слова никогда о нем  
И чадными хвалами задымили  
Мой навсегда опустошенный дом.  
И говорят — нельзя теснее слиться,  
Нельзя непоправимее любить...

Как хочет тень от тела отделиться,  
Как хочет плоть с душою разлучиться,  
Так я хочу теперь — забытой быть.

## ПРЕДСКАЗАНИЕ

Видел я тот венец златокованный...  
Не завидуй такому венцу!  
Оттого, что и сам он ворованный  
И тебе он совсем не к лицу.  
Туго согнутой веткой терновою  
Мой венец на тебе заблестит.  
Ничего, что росую багровою  
Он изнеженный лоб освежит.

1924

\* \* \*

О, знала ль я, когда в одежде белой  
Входила Муза в тесный мой приют,  
Что к лире, навсегда окаменелой,  
Мои живые руки припадут.

О, знала ль я, когда неслась, играя,  
Моей любви последняя гроза,  
Что лучшему из юношей, рыдая,  
Закрою я орлиные глаза.

О, знала ль я, когда, томясь успехом,  
Я искушала дивную судьбу,  
Что скоро люди беспощадным смехом  
Ответят на предсмертную мольбу.

1925

\* \* \*

...Седой венец достался мне недаром,  
И щеки, опаленные загаром,  
Уже людей пугают смуглотой.  
Но близится конец моей гордыне,  
Как той другой — страдальице Марине,  
Придется мне напиться пустотой.  
И ты придешь под черной епанчою,  
С зеленоватой страшною свечою,  
И не откроешь предо мной лица.  
Но мне не долго мучиться загадкой,  
Чья там рука под белою перчаткой  
И кто прислал ночного пришельца.

1942, Ташкент

\* \* \*

И ты ко мне вернулась знаменитой,  
Темно-зеленой веточкой повитой,  
Изящна, равнодушна и горда...  
Я не такой тебя когда-то знала,  
И я не для того тебя спасала  
Из месива кровавого тогда.  
Не буду я делить с тобой удачу,  
Я не ликую над тобой, а плачу,  
И ты прекрасно знаешь, почему.  
И ночь идет, и сил осталось мало.  
Спаси ж меня, как я тебя спасала,  
И не пускай в клокочущую тьму.

1944, Ташкент

\* \* \*

И увидел месяц лукавый,  
Притаившийся у ворот,  
Как свою посмертную славу

Я меняла на вечер тот.  
Теперь меня позабудут,  
И книги сгниют в шкафу.  
Ахматовской звать не будут  
Ни улицу, ни строфу.

1946



\* \* \*

...За ландышевый май  
В моей Москве стоглавой,  
Отдам я звездных стай  
Сияние и славу.

## Переводы Анны Ахматовой

Иосиф ГРИШАШВИЛИ

### КОГДА ПИШУ СТИХИ

Когда ко мне приходит вдохновенье,  
Я — мост между землей и небесами.  
Всему, что сердцу дорого в творенье,  
Я господин, когда дышу стихами.

Пусть только сердце, милая, захочет, —  
Я берег подарю тебе высокий,  
Где море светозарное бормочет,  
Прибой кудрявый, сонный, синеокий.

Я все могу, я сам творец могучий,  
Во мне любви и красоты начала,

Я свет зажгу, чтоб сумрачная туча  
Твое чело вовек не омрачила.

И пусть опять вначале будет слово,  
Чтобы оно природу изменило  
И силой дня торжествовало снова,  
Остановив закатное светило...

Преображенный силой вдохновенья,  
Я — мост между землей и небесами.  
Всему, что сердцу дорого в творенье,  
Я господин, когда дышу стихами.

Михаил КВЛИВИДЗЕ

### ПАМЯТИ САЯТ-НОВА

Темница тесною была и узкой  
И называлась телом человека.  
Там бедная душа изнемогала.  
Несчастливая! Ей было суждено  
Погибнуть в одиночном заключенье.  
Но, к радости ее, в тюремной мгле  
Глаза светлели, словно окна...  
И пленница глядела иногда  
На облако, на тополя верхушку,  
На ласточку, летящую стрелой...  
В тем было счастье пленницы печальной,  
О чем она и пела по ночам.

## Победа!

Отрывки из книги «Годы в броне»

Под моим командованием собралась довольно сильная группировка. Предстояло на коротке сорганизоваться, сжать воедино всю наступательную гармошку и немедленно наброситься на железнодорожную линию и автостраду, идущие из Берлина на Потсдам.

По ближайшему поселку, примыкающему к железной дороге, по трем особнякам, откуда по нас била вражеская артиллерия, по горе Хафельберг, сильному опорному пункту, мы открыли 15-минутный огонь. Семь артиллерийских и минометных дивизионов обрушились на оборону противника. Танки огнем своих скорострельных пушек прямой наводкой методично и последовательно обрабатывали каждый дом. Шумные крупнокалиберные пулеметы ДЛК огненными трассами пронизывали чердаки, проникали во внутрь домов. Начались пожары.

К ночи иступленное и безнадежное сопротивление гитлеровцев прекратилось. Немецкие солдаты были выбиты из последних домов. Преследуемые нашими танками и автоматчиками, они пытались скрыться в лесном массиве Берлинервальд. На некоторое время им удалось зацепиться на высотах Хафельберг, но и там мы их настигли. В этот день они потеряли большое количество артиллерии, тяжелого оружия. Управление нарушилось. Физически надломленные, голодные, они не выдержали натиска наших танков, не устояли против нашего боевого наступательного духа. Путь на западную окраину Берлина открыт. Позади остался трудный день, тяжелый поединок, немалые жертвы, но зато в наших руках оказались Целендорф и автострада. Берлинервальд и Круме-Лонке. Мы вступили на южную окраину Берлина и, ломая все преграды на своем пути, шагнули к западной части города.

Перед рассветом мой танк уткнулся в колонну первого батальона.

— Почему топчетесь на месте?

Кто-то махнул рукой, указывая на колонну танков, стоящих на обочине дороги. Натыкаясь на застрявшие в кюветах танки, на беспорядочно стоявшие тягачи, с трудом нашел командира батальона. С фонариком в руках он шарил по плану Берлина.

— Кто теперь держит вас?

Гулеватый растерянно оправдывался. — Запутался, не знаю, куда идти. То ли карты врут, то ли мы с разведчиками заплутали. На всякий случай я их послал в дом узнать, куда выходит эта дорога.

— Как же, Еремеевич, ты поступаешь. Знаешь ли, где находимся? Мы же в Берлине. Рассчитываешь, что немцы еще провожатого дадут?

— Да ведь кругом более или менее спокойно. В этом уголке Берлина стрельбы не слышно, вот я и решил поразведать.

Справа со стороны ряда особняков, отгороженных друг от друга садами, доносился говор, крики, смех. К нам приближалась группа людей.

Разведчики Серажимова запыхавшись докладывали:

— Искали немцев, а наткнулись на японцев, на швейцарцев и еще на каких-то иностранцев.

Борис Савельев дал более вразумительную справку.

— Рядом с нами летние резиденции многих посольств. Видимо, некоторые, дипломаты, спасаясь от огня, перекочевали в безопасные места. Кто из них думал, что советские танкисты выйдут к реке Хафель, в живописные леса западнее Берлина.

Юмор не покидал Дмитриева даже в этот предутренний час.

— Каково их самочувствие?

Савельев не унимался:

— Немножко хуже, чем на дипломатическом приеме. Все они перепуганы, не знают, что делать, куда податься. Перебивают друг друга и все кричат, что они не немцы. А японец и вовсе пере-

старался, на чистом русском языке клялся в любви к России.

Разведчики так увлеклись рассказом о дипломатах, как будто это было главное для них. Я перебил их.

— Это, ребята, нехорошо. Нам сейчас не до дипломатии. Давайте о главном — вы узнали, где мы находимся?

— Узнал, узнал, — перебил нас Серажимов. — Мы находимся совсем близко от района Хеерштрассе, недалеко от стадиона Олимпия.

Уткнувшись в план Берлина, мы увидели эти крупные ориентиры. Асфальтированная дорога, обозначенная на этом плане жирной красной линией, выводила нас туда, куда нам было приказано, на самую западную окраину города в район Шарлоттенбург, на улицы Рейхштрассе, Бисмаркштрассе, вокзал Шарлоттенбург и далее — в район Зоологического сада, к Тиргартену.

Со своим танком, с небольшой группой автомашин моя оперативная группа перекочевала в расположение авангардного батальона, ближе к ротам автоматчиков, к разведчикам и саперам, ко всем тем, кому выпала трудная задача штурмовать центральные районы Берлина.

Колонна оторвалась от берега реки, миновала гору Даксберг, оставила позади особняки Шпругшанце и повернула налево к горсду. Бригада ползла медленно, настороженно, как натянутая стальная пружина, готовая в любую минуту разжаться и сделать огромной силы прыжок.

Только теперь, когда остались позади леса, мы столкнулись с рассветом. На нас надвигались серые окраины Берлина. Где-то в восточной части столицы, в центре ее полихали пожары. К небу тянулись черные столбы дыма, их окаймляли языки пламени. Временами раздавались взрывы огромной силы, сопровождаемые огненными вспышками.

Я стоял на танке вместе с небольшим десантом, окруженный офицерами штаба. Все мы были взволнованы. Забыты бессонница и усталость, с волнением мы ждали встречи с Берлином. Позади остались бои на Тельтове, тяжелые испытания в Целедорфе, стычки на автостраде. Теперь, в это раннее утро 26 апреля мы вступали обеими ногами в столицу Третьего рейха, в район Шарлоттенбург, в гнездо, где ютились крупные магнаты, фашистские заправилы.

Стало светать. На встречу нам надвигалась сплошная стена горящего и содрогющегося в судорогах города. С разведчиками и автоматчиками подбегаем к крайнему дому. Надпись на эмалевой табличке гласит: Хеерштрассе. Громкое, взволнованное «ура» разносится по улице. Приказ выполнен.

Бригада вступила на западную окраину Берлина. Вышла именно на ту улицу,

куда было ей приказано. Чувство радости и гордости за моих танкистов, разведчиков, саперов, автоматчиков, охватило меня, когда я собственными глазами читал надписи на домах. Не заблудились, не запутались, вышли в заданный район. Отсюда будем наступать на Шарлоттенбург, на Тиргартен, на север, словом туда, куда прикажут.

Можно докладывать.

— Немедленно донести командиру корпуса наши координаты.

Шалунов на ходу подхватил мои слова и помчался к радиостанции.

Подошел сияющий Дмитриев, потащил меня к двум захваченным «Фердинандам». Сюда же подошли Старухин, Осадчий, Гулеватый, Быстров, Савельев. Кто-то повелительно командует:

— Не шевелиться!

Трофейный фотоаппарат «Лейка» у трофейных немецких танков на западной окраине фашистской столицы фотографирует нас, усталых и счастливых людей, прошедших долгие годы нелегкой войны, пришедших издалека, из-под Москвы, от берегов Волги и гор Кавказа.

Эти снимки будем показывать нашим детям, внукам. Пусть они гордятся бесстрашным поколением своих отцов.

Бригаде явно повезло. На улице Хеерштрассе в эти утренние часы было относительное затишье. Немцы не рассчитывали, что советские войска окажутся на самой западной окраине города. Бои шли на востоке Берлина, в центре его, войска шли с юга, просочились на севере, но чтобы в этом районе... Это была полнейшая внезапность для гитлеровцев. Они не ожидали выхода нашего 7-го танкового корпуса, не подготовились к встрече его. Этим мы воспользовались и повели наступление вдоль притихшей улицы.

Необычное затишье вызывало у нас какое-то недоумение, мы ожидали огня артиллерии, коварных фаустников, гранат, бросаемых из окон, и вдруг мертвая тишина... Конечно, мы понимали, что шоковое состояние, охватившее немцев, долго длиться не будет, вот-вот надо ожидать взрыва. Пробирались мы по улицам медленно, предпринимая все меры безопасности. Отдельные подразделения свернули вправо, охватывая с севера район Эйхкамп. Мы ставили задачу — выскочить к крупным зданиям, скорее столкнуться с противником, смешаться с его боевыми порядками и этим лишить его возможности применить против нас тяжелые средства воздействия.

Великая сила опыта, практика. Бои, проведенные нами в предместьях Берлина, на его дальних и близких подступах, научили нас действовать слаженно, организовывать тесный контакт всех сил и средств, которыми мы располагали, идти друг с другом, бить по одной цели всеми огневыми средствами, штурмовать последовательно объект за объек-

том, очищать каждый дом и продвигаться от улицы к улице.

Разведчики змейкой ползли по тыльной стороне улицы, автоматчики, развернувшись в цепочку, охватили всю ширину улицы. Танки шли в кильватерную колонну, держа дистанцию по сто метров друг от друга. Вокруг каждого из них перебежали штурмовые группы, и за каждым следовало орудие. Рота за ротой шли вдоль улицы, готовые поддержать друг друга.

В этой своеобразной и неясной обстановке нам самим надо было быть в центре этого боевого порядка, чтобы своими глазами видеть бой, влиять на ход боя своими силами, средствами и резервами. Вот почему моя небольшая группа управления находилась между двумя батальонами. Шли пешком, вооруженные автоматами, гранатами, нас окружали взвод автоматчиков, разведчик, саперы. Шли молча, затаив дыхание и, как на охоте, готовые в любую секунду к открытию огня.

Начальника штаба бригады я наделил большой силой. На самой окраине он развернул штаб, в его руках были танки, вся артиллерийская группа, резерв пехоты. В любое время он должен был оказать нам помощь. На него возлагались и другие задачи.

Нас беспокоил неприкрытый лес, откуда мы вошли в Берлин, нас тревожила северная часть Берлина с его районом Шпандау, Рулебен, примыкающие к району и улице Хеерштрассе.

Недолгим оказалось спокойствие в этом районе. Не успели мы пройти и восьми кварталов, не прошло и часа, как утреннюю мертвую тишину взорвал огненный шквал артиллерийских снарядов, полетели в нашу сторону гранаты с длинными деревянными ручками, фаустпатроны обрушились на впереди идущие танки. Ожила улица, встрепенулись чердаки и подвалы, забегали в домах.

— «Огонь! Огонь!» — эти слова передавались из уст в уста командирами батальонов, рот, взводов, расчетов и экипажей. Начались ответные действия, начался штурм и атака домов, переулков, улиц. Зажигательные и фугасные снаряды, противотанковые и пехотные гранаты, пулеметы всех калибров, все огненные средства, которыми мы располагали, были брошены в этот горящий котел. Тяжело надламываясь, крихтели дома, объятые пламенем. Апрельский ветерок перебрасывал языки пламени на соседние дома. Горели крыши, пылали подвалы. Дальнобойная артиллерия первого Украинского фронта начала обстреливать западные районы Берлина, сюда



Первый после установления Советской власти в Грузии Первомай. 1921 год. Парад принимают перед зданием Дворца правительства на проспекте Руставели ветераны революции Сильвестр Тодрия, Филипп Махарадзе, Вано Стуруа, Миха Цхакая, Шалва Элиава, Серго Орджоникидзе, Петре Агниашвили и другие.

стала налетать бомбардировочная и штурмовая авиация.

Наша атака на окраине Берлина слилась со штурмом полков и дивизий, идущих с востока, с юга и севера. Приближалось полное окружение врага в Берлине. Справедливая месть, карающая рука нашей Родины настигла фашистских палачей в самой столице, на ее улицах, в их собственных домах. Теперь врагу идти некуда, он мечется в ловушке, в расставленных железных сетях. Выйти из них ему уже невозможно. Гитлеровцам оставался единственный выбор — сложить оружие, прекратить дальнейшее сопротивление, сдаться на милость победителя. Но гитлеровцы лучше всего боялись этого. Реками пролитая человеческая кровь не давала им покоя. Они страшились расплаты и возмездия. Перед их глазами плотной стеной встали их жертвы — все замученные, загубленные, расстрелянные и повешенные, задушенные газами и зажжимо сожженные. Кто будет в ответе за все эти злодеяния?

Гитлеровцам мерещились миллионы детей, женщин, стариков, пропущенных через крематории Освенцима, Матхаузена и Бухенвальда, жертвы Бабьего Яра и Варшавского гетто, Лидице и Орадур, которые идут за нами в Берлин для мести и расправы. Вот почему фашисты и в мыслях не допускали сложить оружие и продолжали с звериным фанатизмом драться на подступах к Берлину

и в самом городе, на улицах и в домах, в тоннелях метро и в канализационных трубах...

Они предприняли тотальную мобилизацию. Бросили против нас старейших верелых нацистов, фолькс-штурмовиков и юнцов из «Гитлерюгенд», женские команды и фауст-патронщиков. Заставили всех идти в бой. Это была последняя ставка фашизма, последняя попытка уйти от расплаты. В осажденном городе Геббельс призывал немецкий народ к сопротивлению, обещая сегодня — завтра появления чуда. Вой достигли высшего накала.

К ночи, выкуривая немцев из каждого сопротивляющегося дома, мы продолжали продвигаться по улице Херштрассе и в конце концов овладели ею полностью. Наши танки и пехота стали просачиваться на другие прилегающие улицы, а к утру 27 апреля какой-то путанный переулочек вывел второй батальон на западную часть улицы Вильгельмштрассе.

Как замороженный стоял я перед домом, только что очищенным от гитлеровцев. Глаза прилипли к надписи. Я тогда не знал, что в Берлине насчитывается десяток улиц, носящих имя Вильгельма — первого и второго, но почему-то мне казалось, что это именно та самая улица, о которой слышал не один раз. Несколько дней назад командарм шутя назначил ее как место встречи. Вильгельмштрассе, носящая имя одно-



С. М. Киров, Ф. И. Махарадзе, А. Ф. Мясников, М. Д. Орахелашвили, Г. К. Орджоникидзе, И. Ф. Стура, М. Г. Цхакая, Ш. З. Элиава и другие в группе состава ЗКК РКП(б) 1923 г.

го из кайзеров, в моем уме ассоциировалась со многими походами, набегами прусской военщины.

Меня окружили разведчики и автоматчики. Еще раз вчитываюсь в эти слова. Ошибки никакой нет, именно эта улица называется Вильгельмштрассе. Обращиваюсь к моим друзьям и начинаю от души хохотать. Лица ребят застыли в удивлении. Я понял, что они ждут моих разъяснений, не будет же их командир в такую пору смеяться без причины. Конечно, причина к этому была.

Эта история уходила своими корнями в предвоенные годы, и сейчас же ее поведал боевым друзьям, окружившим меня в это раннее утро в Берлине, на улице Вильгельмштрассе, у дома № 76.

Это было у нас во Фрунзевке<sup>1</sup>. Немецкий язык в нашей группе преподавала Забелина. Молодая, черноглазая, она своей красотой, стройной фигурой привлекала наше внимание гораздо больше, чем сам немецкий язык. Мы больше на нее глядели, чем слушали ее уроки. Прошло несколько месяцев, и Забелина нас основательно раскусила и в свою очередь перешла в атаку. За ее милоту и добродушную улыбкой скрывалась строгость, высокая требовательность. Она решила нас проучить, потребовала безукоризненного выполнения домашних заданий. Когда-то в школе по иностранному языку я был на хорошем счету, в Саратовском танковом училище по немецкому языку числился отличником. Все это я считал достаточным, чтобы в Академии не очень затруднять себя этим предметом.

С каждым месяцем Забелина становилась агрессивней. В моей зачетной книжке замелькали «тройки». Теперь эта «немка» казалась нам со многими изъятиями, строгость лишила ее той женственности, о которой вздыхали мы, молодые лейтенанты.

Забелина продолжала упорно добиваться уважения к ее предмету. Мы считали немецкий язык не основным, не главным. Однажды ее терпение лопнуло. Плотина нашего сопротивления была прорвана.

Как-то на очередном занятии, когда мы не были готовы к контрольным зачетам, Забелина вручила каждому из нас зачетную работу, и чтобы мы не заглядывали друг к другу и не переписывали у рядом сидящих — всем нам были розданы разные темы.

— Это я делаю потому, чтобы вы не мешали друг другу.

Последний козырь выпал из наших рук. Раньше, даже несмотря на ее повышенную бдительность, мы ухитрялись шепотом подсказывать друг другу, инот-

да нам удавалось обмениваться шпартгалками, а теперь мы и этого лишились.

На листе бумаги аккуратно были написаны десять вопросов на русском языке. На них надлежало ответить на немецком. Прозвучал звонок. Моя неоконченная работа лежала на столе преподавателя. А через несколько дней состоялся разбор. Мне досталось больше всех.

— Какой позор. В одном слове Вильгельмштрассе — три ошибки. Я считала вас способным слушателем. Вы даже могли быть и хорошим переводчиком.

В этом роде и в таком духе она отчитывала меня несколько минут. Затем несколько сбавив разносный тон, она перешла на тихое, спокойное нравоучение.

— А если вспыхнет война с Германией, как же будете воевать? Как будете допрашивать военнопленных? Это же упомопрачительно — три ошибки в одном слове «Вильгельмштрассе»!

Жирная двойка стояла на моей контрольной работе. Вот почему, оказавшись на Вильгельмштрассе, я не мог удержаться от улыбки, от воспоминаний о нашей академии, о нашем красивом, строгом преподавателе Забелиной.

Мое приподнятое настроение передалось друзьям. Услышав мой рассказ, они тоже весело смеялись, у каждого из них, наверно, были за годы учебы подобные казусы, такие же истории.

Сегодня было чему радоваться. Мы все-таки добрались до Вильгельмштрассе и, как ни парадоксально, первым достиг этой улицы бригадир тракторной бригады из Оренбургских степей, некогда не изучавший немецкого языка, Андрей Серажимов. Стоящий рядом со мной Савельев не удержался:

— Товарищ полковник, а какова судьба этой «двойки», исправили ее?

— Нет, Борис. С этим пятым я и ушел на фронт. Началась война, некогда было, а теперь на практике исправляем довоенные ошибки.

Спустя несколько лет после войны я отдыхал в Кисловодске и на шумном «пятакче» этого города случайно увидел знакомое лицо, красивые черные задумчивые глаза. Я не видел Забелину десять лет, но сразу узнал своего строгого преподавателя немецкого языка. За спиной каждого из нас дороги войны, жизненные неурядицы и многое, что пришлось нам испытать за последние годы.

Оставив в стороне все формальности, я решительно подошел к ней, представился. В седеющем полковнике она, конечно, не сразу узнала того молодого, озорного старшего лейтенанта, которому когда-то влепила двойку.

Мы прошли к нарзанному источнику, выпили водички. Гуляя по парку, я признался Забелиной во всех своих прошлых грехах, напомнил ей о памятной

<sup>1</sup> Военная Академия имени Фрунзе.



«двойке» и о всех наших невинных юношеских проказах. Она сделала вид, что вспомнила этот случай, а, возможно, действительно память вернула ее к прошлому. Во всяком случае, до самого санатория она не переставала улыбаться. Особенно ее тронул мой рассказ о Берлине и о том, что происходило на улице Вильгельмштрассе, у дома № 76, где главным героем повествования была она.

Окинув взглядом две мои золотые звездочки, она не без гордости заявила:

— Оценку за контрольную работу с большим удовольствием готова испробовать. Отыные считайте, что у вас «пятёрка», три балла сразу прибавляю за практическое применение немецкого языка на немецкой земле.

\* \* \*

Адьютант и повара сервировали столы. Они выложили все, что было запасено и припрятано для этого дня. Ребята раздобыли в особняке белоснежные скатерти и хрустальные фужеры. За столом сидели ветераны бригады и все те, кто оказался в это время с нами.

Дмитриев включил радиоприемник. Знакомый торжественный голос диктора заполнил весь наш дом. При упоминании отличившихся при штурме Берлина танкистов армии генерала Рыбалко люди вскочили с мест и громким «ура!» заглушили бас Левитана. Мы взглянули на часы. Вот-вот Москва от имени Родины будет салютовать в честь одержанных побед над врагом, в честь успешного завершения штурма столицы фашистской Германии.

Вдруг в эту минуту вздрогнул весь дом, зашевелился наш праздничный стол, забегали на столе фужеры. Все ринулись на улицу: не случилось ли что-нибудь непредвиденное? Нашим взорам представилась удивительная картина. Танки со вздернутыми к небу стволами, артиллерия всех калибров, зенитные крупнокалиберные пулеметы, автоматы, ракетницы посылали в берлинское небо трассирующие снаряды, огненные трассы, разноцветные ракеты. Москва салтовала в честь нас — ее верных сыновей, мы в Берлине салтовали в честь нашей партии, нашей Родины.

Впервые за многие годы я спал безпробудным, безмятежным сном. Спал долго, на настоящей кровати, на постели, раздетым. Это ли не блаженство?

Растормошил меня Дмитриев.

— Подъем, подъем!

По привычке, выработанной годами, пулей вскочил, расторопно, по-солдатски стал одеваться, недоуменно озираясь вокруг.

— Что случилось?

— Ничего особенного не произошло. Мы же вчера договорились осмотреть город.

Стал вспоминать вчерашнее. Посторел на часы: проспал подряд двенадцать часов. Бесполезно было выпрашивать у друзей пару часиков на завершение сна, а как не хотелось оставлять постель.

В соседней комнате собрались командиры батальонов, офицеры штаба. Мой Петро Кожемяков шумно распоряжался на улице: распределял машины, давал «ценные» указания шоферам.

Мы тронулись в путь. Сначала двигались медленно, всматривались в каждый дом, объезжая заваленные улицы, над которыми нависли разорванные стены домов. Казалось, вот-вот они рухнут. К ним боялись подходить, подбегать. Снизу эти изуродованные нагромождения еще тлели, кверху поднимался дымок и каменная пыль.

Мы пересекли улицу Рейхштрассе, выехали на широкую Бисмаркштрассе. Перед нами такая же картина: горящие дома, сплошные завалы, десяток обугленных, перевернутых автобусов и целое море белых полотниц. В окнах, на уцелевших балконах, на печных трубах, на остатках домов, над кучей обломков флаги и простыни, скатерти и наволочки. Кругом все белое, белое — символ падения Берлина, его капитуляции. Город отдавался на милость победителя. Такая же картина на Берлинерштрассе, Шарлоттенбург Шоссе, везде и всюду бесформенные, торчащие остовы домов, груды камня и щебня... Берлин напомнил город после сильного землетрясения.

Машины проскочили канал Ландвер, и мы очутились в дымящем, оголенном Тиргартене. Этот чудесный уголок Берлина, служивший некогда местом отдыха и прогулок для берлинцев, превратился в непроходимую свалку и кладбище для танков, орудий, автомашин. Поваленные деревья, высохшие пруды, разбитые мостки, воронки от тысячекилограммовых фугасок. Огонь войны добрался до «Аллеи побед» Тиргартена. У пьедесталов валялись скульптурные изваяния Вильгельмов и Фридрихов, сиятельных особ и прусских генералов, всевозможных вояк многих войн и разных времен. Теперь они лежали в грязи, в глине, с оторванными ногами, с вывороченными руками, разбитыми головами.

Тут же копошились какие-то люди. Они обступили плотной стеной тройку убитых лошадей, валяющихся в артиллерийской упряжке, резали, потрошили их и прятали в кошелки куски далеко несвежей конины. Мы с товарищами переглянулись, усмехнулись, вспомнили надписи на многих берлинских домах: «Германия — превыше всего», «Все для Германии». Какая ирония судьбы. Вместо всего этого Германия лежала теперь поверженная в прах, обтаяв дымом пожарами. В голове мелькнула мысль: «От великого до смешного — один шаг».

Улицы Унтер-ден-Линден, Фридрихштрассе, некогда блиставшие красотой, чопорностью и строгостью, также разрушены и напоминают непроходимую свалку, на которой копошатся женщины, дети в поисках чего-нибудь съедобного.

Голод на все толкает. Геббельс до хрипото орал о неминуемой гибели всего живого с приходом русских. Пришли советские люди, стала пробиваться жизнь в еще тлеющем городе. Мальчишки остаются мальчишками везде. Вот на наших глазах робкими шагами подходят они к нашим солдатским кухням, большими испуганными глазами смотрят на поваров, тихо шепчут «эссен». И, конечно, наши люди им не отказывают.

Вот мы у Рейхстага. Сколько мыслей бороздят мой мозг. Вот он как-то: серый, хмурый, побитый, обгоревший и изуродованный, как и весь Берлин, как и вся Германия. Вокруг Рейхстага, в нем самом шли упорные бои. Падение его было символом краха фашистской империи.

Мы подходим ближе, нам кажется, что Рейхстаг шатается. В эту минуту он напоминает мне пиратский корабль, постигнутый бурей в океане и готовый вот-вот опуститься в бездну. Молча осматриваем это чудовище. Через оголенный разорванный купол пробивается неяркий свет, внутри сумрачно, сыро, холодно. На полу свалка из камня, стекла, штукатурки и щебня. Сквозь разорванную стену видны Бранденбургские ворота, разбитые колонны, опирающиеся на железные трубы. Богиня-всадница выброшена из колесницы, валяется на земле. На воротах две лошади летят вниз, в пропасть, в бездну, вместе со всей фашистской Германией.

Сотни машин облепили Рейхстаг, тысячи наших воинов осматривают, ощущают изрешеченные колоннады, изуродованные стены, вырванные двери. Надписи. Их сотни, тысячи. Чего только не написано на стенах, на полу, на колоннадах, на каждом камне этого изуродованного здания. «Мы дошли», «Мы пришли», «Мы победили». А потом пошли названия наших городов: «Мы из Москвы», «Мы из Ленинграда», «Я прошел от Сталинграда до Берлина», «Мы из Минска, Смоленска, Сибири, Хабаровска...» Вчитываемся в надписи, их слишком много. Каждый из нас в эти дни считал нужным прийти сюда и поставить свою фамилию. Я вытаскил солдатский нож и на одной из колонн выбил слова: «Драгунский. Я из Брянщины. 3 мая 1945 г.». Вокруг меня кипела работа — мои друзья делали то же самое.

Одна фамилия, выдолбленная на серой каменной стене, заинтересовала меня. Фамилия эта обыкновенная, каких немало у нас на Руси, и надпись лаконичная: «Москалев Петр. 2 мая 45 г.».

Я отошел от стены, побродил вокруг Рейхстага и опять вернулся к надписи. Неужели это Петр Москалев, тот самый комсомолец из Батурино? Эта мысль не покидала меня. А почему бы и нет? Мысли перенеслись к далекому прошлому, к первым дням войны.

В июле 1941 года я командовал курсантским танковым батальоном. Смоленщина. Дрожит от взрывов земля. Мы с тяжелыми боями отходим на восток. Ощущение такое, словно отрываешь от сердца живую ткань. Фронт севернее Ярцева, неподалеку от города Белый. Мой танковый батальон нанес фашистам первый чувствительный удар у поселка Батурино. Горели необрунные хлеба, полыхали деревянные дома поселка, черный дым окутывал подбитые нами вражеские танки. Но именно у поселка Батурино все, кто уцелел тогда в бою, обрели веру в свою грядущую и окончательную победу. Бои были тогда тяжелые. В одном из них был убит комиссар батальона, в прошлом железнодорожник, Андрей Ткачев. На могиле комиссара и многих других наших танкистов, павших на поле боя, стихийно возник митинг. Трибуной служил танк. Бойцы давали клятву мщения. Оружейники выгравировали на снарядных гильзах «Мы победим» и положили в изголовье погибших, в гробы, сколоченные из снарядных ящиков.

Будто сейчас передо мной лейтенант Петр Москалев, родом из Батурино. Страшен его вид: в клочья изорван обгоревший комбинезон, на обожженном лице запеклась кровь, ее сгустки засохли в золотистых волосах парня. Петр не говорит, а кричит:

— Сегодня мы хороним наших друзей. На моей родной Смоленщине, на моей колхозной земле. Дорого заплатил за их жизнь враг! Но еще больше возрастет эта цена. Придет, обязательно придет день, когда фашистские танки запылают в Берлине, слышите? В самом Берлине! Мы будем там!

По лесу, где мы укрылись, пронеслось многоголосое:

— Мы будем там!

Шли месяцы войны. Были успехи, но больше в то время было неудач. Тяжело ранили Москалева. Лесами и болотами отходили мы в октябре месяце. Нелегко было тащить его с собой. Но все-таки мы его спасли. Больше его я не видел, наши дороги разошлись. Мельком слышал я о танкисте Москалеве, сражающемся в войсках Белорусского фронта. Он ли этот комсомолец из Батурино, который дал клятву в лесах Смоленщины — «Мы будем в Берлине!» Захотелось узнать: дошел ли он? И вот совершенно случайно на стене Рейхстага читаю: «Москалев Петр». Дошел! А может, и не он, а другой... Мы дошли — и в этом главное.

Покидаем Берлин. Идем на выручку оставшей Праге.

В полудремоте покачиваюсь на переднем сиденье и думаю... Вот и опустился занавес берлинской трагедии. То, к чему мы стремились долгие годы, свершилось. Столица Германии у наших ног. Ненасытная жажда священной мести фашистским людоедам утолена. На войне положено быть жестоким, беспощадным к тем, кто ведет против тебя войну, кто сопротивляется. Гитлеровцы уничтожили миллионы людей в душегубках, крематориях, в мирных городах и селах, и не солдат в открытом бою, а детей, женщин, беспомощных стариков. Трудно все это забыть и нельзя простить того, что сделали народам Европы фашистские варвары.

У каждого из нас был особый свой счет. Гитлеровцы расстреляли всю мою семью: отца и мать, сестер и их детей. Но разве я один только пострадал? У каждого офицера и солдата моей бригады были зияющие раны. Казалось, трудно остановить людей, охваченных жаждой мести, но как только закончились бои, едва только прозвучал последний залп, сразу же наши солдаты стали кормить голодных детей и женщин, оказывать помощь людям, лечить больных и раненых. Наши воины стали возрождать жизнь в мертвом выжженном городе. Вот истинный гуманизм советских людей. Какая доброта и человечность!

Покачиваясь в машине под тихий рокот мотора, я в эту ночь думал о моей Родине, о поверженной Германии, о Москве и Берлине. Все в жизни познается в сравнении. Мне легче было все это сопоставить, сравнить. Судьба заброси-

ла меня в тяжкую пору ноября 1941 года в ряды защитников Москвы, мне же выпала честь впоследствии ~~отстоять~~ Берлин.

Помню, какой была в то время наша столица — суровая, настороженная, повоенному собранная. Вся она ошетичилась, окружила себя железными ежами, надолбами, противотанковыми рвами, а главное — мужеством людей, решивших умереть, но не сдаться. Столица жила напряженной фронтовой жизнью. Она верила в свои силы. А 7-го ноября, как обычно, состоялся парад войск, участники которого уходили на фронт. В Москве остались те, кто руководил обороной страны, кто организовывал сопротивление врагу — Государственный комитет обороны, Ставка Верховного Командования, руководство нашей партии, Сталин.

Апрель 1945. Мы в Германии, у стен Берлина. Он разрушен, опустошен не только физически, но и морально. В столице паника и деморализация. Руководство не верит своему народу, который оно втянуло в авантюру и привело к катастрофе. Фашистские палачи в паническом бегстве. Геринг скрывается на юге, прихватив с собой ценности, награбленные по всей Европе. Обер-палач Гиммлер убегает на запад, рассчитывая на милость наших союзников. Рибентроп очутился в Гамбурге. Гитлер стреляется. Геббельс травится. Третий рейх, призванный существовать и господствовать тысячелетие, рушится под ударами нашей армии.

После всего этого как же не гордиться нашей страной, нашей столицей, нашим мужественным народом, нашей героической и благородной партией, которая привела нас в Берлин.

Публикуемое письмо относится к февралю 1941 года, когда Мих. Зощенко вместе с Д. Шостаковичем был гостем трудящихся нашей республики на празднестве в связи с 20-летием установления Советской власти в Грузии.

## Привет от города Ленина

Вместе с моими товарищами — делегатами от города Ленина — я был послан поздравить грузинский народ с торжественным днем двадцатилетия Советской Грузии.

Я счастлив передать поздравление народу, у которого прекрасное и точное искусство, светлый разум, высокая культура и то исключительное чувство товарищества и взаимной дружбы, которое так характерно для народов Грузии.

От всего сердца я передаю это поздравление и привет трудящихся города Ленина.

За несколько дней мы здесь получили огромные впечатления. Мы видели поразительную по силе демонстрацию трудящихся Тбилиси. Мы предполагали, что в этой демонстрации примет участие никак не более ста тысяч человек. Это была бы нормальная цифра для

города, население которого несколько более  $1/2$  миллиона. Между тем в этой демонстрации приняло участие почти все население города.

В этой исключительно красочной и выразительной демонстрации мы как бы заново увидели прекрасные черты грузинского народа.

Это был национальный торжественный праздник трудящихся — рабочих, колхозников, интеллигенции, объединенных одинаковыми чувствами.

Очень сильное впечатление мы, делегаты, получили от поездки в Гори.

И мы все, вероятно, испытывали одинаковые чувства — чувства огромной любви, огромного уважения к народу, к которому мы приехали с разных концов Союза — поздравить с торжественным днем.

Я счастлив передать привет и поздравление от города Ленина.



Накануне IV съезда Союза писателей СССР редакция «Литературной Грузии» обратилась к посланцам грузинской писательской организации, представлявшим нашу республику на I Всесоюзном съезде писателей в августе 1934 года, с просьбой поделиться своими воспоминаниями о нем, а также размышлениями, навеянными предстоящим всесоюзным форумом литераторов.

Ираклий АБАШИДЗЕ

### ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Москва была все еще старой Москвой. И гостиницы — почти все дореволюционные. Строительные леса будущей гостиницы «Москва» дотягивались до третьего, от силы до четвертого этажа, так что даже стены нового здания еще не были видны.

Самым большим залом для заседаний, самой большой аудиторией считался Колонный зал дома Союзов. Около десяти лет назад здесь лежал в гробу великий Ленин. Помните стихотворение Веры Инбер: «В Колонном зале положили его на пять ночей и дней»?

И Первый Всесоюзный съезд писателей проходил именно в этом зале.

Делегацию грузинских писателей разместили, если мне не изменяет память, в гостинице «Восточные номера» (сейчас ее и след простыл). Во всяком случае, часть нашей делегации поселилась там.

Я жил в одной комнате с Иосифом Гришашвили. Насколько я помню, Гришашвили впервые приехал в Москву.

Сегодня всевозможные форумы, фестивали — привычное для москвичей дело, им почти никто не удивляется, а тогда писательский съезд являлся необычным, удивительным событием в жизни столицы.

Площадь перед Домом Союзов с утра до вечера кишела народом. Огромного здания Совета Министров СССР, которое сегодня гулливером глядит на Дом Союзов, тогда не было даже в проекте, и на том месте, где оно гордо высится, толпились люди.

Особенный интерес у москвичей вызывали иностранные писатели. Вообще иностранцы в те времена редко приезжали к нам и были в диковину. Ну, а столько сразу, да еще писателей...

Честно говоря, я тоже впервые только на съезде увидел писателей из капиталистических стран и разглядывал их так, словно передо мной стояли загадочные существа с других планет. Особенно поразил мое воображение высоченный мужчина в коротких штанишках. Фамилию его я не запомнил, видимо, этот великан не был автором нашумевшей книги, да и впоследствии не создал ничего такого, что заставило бы говорить о нем.

Однако среди иностранных гостей были и знаменитые писатели, такие, как Андре Мольро, Мартин Андерсен Нексе, впрочем, наш читатель хорошо знает, кто из иностранцев присутствовал на съезде, и я не стану здесь перечислять всех фамилий.

Грузинская литература делегировала на всесоюзный форум своих лучших представителей. К нашему прискорбию, многих из них нет в живых. И когда я смотрю на фотографию полного состава нашей делегации в кабинете у тогдашнего секретаря ВЦИКа тов. Авеля Енукидзе, то сердце кровью обливается. Из грузинских писателей, присутствовавших на съезде, уже осталось очень мало, по пальцам пересчитать...



Я был самым молодым среди грузинских писателей — участников Первого съезда. Молодой, действительно молодой, поэт, с правом совещательного голоса (скажу в скобках, этим правом я так и не воспользовался). Моему счастью не было границ. Меня не покидало ощущение, что с этого съезда начинается длинная дорога моей жизни в поэзии.

Нашу делегацию возглавлял Малакия Торошелидзе, председатель Союза писателей Грузии. Малакия Торошелидзе явно симпатизировал мне, молодому поэту, опубликовавшему незадолго до форума стихотворение «Баллада о спасении», которое перед самым съездом перевел на русский язык Борис Пастернак.

Как известно, на Первом Всесоюзном съезде писателей одним из основных докладов был доклад о грузинской литературе. Это на редкость ответственное выступление готовилось еще в Тбилиси не только докладчиком, но и целой группой историков литературы. Ведь голос грузинских писателей должен был прозвучать с высокой трибуны, причем впервые за всю историю нашей страны.

Наша литература, можно сказать, еще не перешагнула границ Грузии. На русском языке насчитывалось всего несколько переводов грузинских писателей и среди них, к счастью, бальмонтковский перевод Шота Руставели.

Вообще же перевод наших произведений на русский язык носил случайный характер.

За год до съезда по инициативе Максима Горького в Тбилиси была направлена группа известных русских писателей — Николай Тихонов, Борис Пастернак, Виктор Гольцев и другие. Они приехали с благород-

ным заданием перевести к открытию съезда лучшие образцы грузинской поэзии. И сделали это с большой заинтересованностью и талантом. Именно они заложили основы систематических переводов произведений не только писателей Грузии, но и всех братских республик.

Публикация этих переводов грузинских поэтов произвела на литературную Москву огромное впечатление. Произошло открытие нового мира, неведомого русскому читателю. Грузинский стих обрел вторую жизнь в переводах Н. Тихонова, Б. Пастернака и других замечательных мастеров.

Интерес к Грузии, памятный со времен Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, обновился, обогатился, возвысился, благодаря изумительным переводам наших произведений на язык великого русского народа.

Все это создало на съезде атмосферу благожелательности и признания. Выступление Малакия Торошелидзе с докладом воистину стало событием.

Помню, колонны Дома Союзов были украшены портретами всемирно известных писателей. На второй день работы съезда, после выступления М. Торошелидзе, на колоннах у самой трибуны появилось еще два портрета — Шота Руставели и Тараса Шевченко.

Наши украинские друзья даже шутили: «Ваш Руставели ввел в зал и нашего Шевченко».

Свое первое стихотворение о Руставели я написал по горячим следам этих событий: «В Дом Союзов вошел великий грузин и занял у трибуны колонну».

Незабываемые дни съезда: на трибуне Максим Горький, Алексей Толстой, Фадеев, Пастернак, Бабель, Пильняк, Новиков-Прибой, Тынянов, Серафимович... Дорогие имена, вошедшие в историю литературы нашей великой Родины.

Именно Первый Всесоюзный съезд распахнул перед грузинской культурой ворота в мировую литературу. Перед нами открылась широкая дорога. Поэтому мы, грузинские писатели, придаем этому съезду такое большое значение. Глубока наша вера и в то, что Четвертый съезд писателей, на пороге которого мы стоим, станет событием огромного значения в жизни литератур народов СССР.

## В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО

Больше трех десятилетий отделяет нас от Первого Всесоюзного съезда писателей, но некоторые моменты и события сохранились в памяти довольно отчетливо. Группа писателей Грузии, делегированная на съезд, была преисполнена энтузиазма. Уезжали из Тбилиси в приподнятом настроении, а шумные, восторженные встречи на московском вокзале, где нас встречали друзья из Российской организации Союза писателей — ведущие русские поэты, прозаики, известные литераторы, только поддерживали ту радостную взволнованность и подъем, которые царили среди делегатов Грузии.

К моменту съезда у нас уже были достаточно прочные дружеские связи с русскими литераторами, и поездка в Москву, а главное, сам съезд писателей сулил нам немало радостных и полезных встреч, еще более тесные контакты в работе.

Наши ожидания оправдались — в Москве мы сразу оказались в окружении ближайших друзей — Н. Тихонова, Н. Заболоцкого, Б. Пастернака, В. Гольцева, В. Луговского и многих других, кто искренне любил грузинскую литературу, в частности, поэзию, относился к ней преданно, заинтересованно. Беседы о насущных вопросах литературы, споры, чтение стихов безудержно захватили нас.

И по сей день у меня сохранились письма названных выше друзей грузинской поэзии. Вот одно из них, как мне кажется, наиболее теплое и душевное.

«15 апреля 1951 г.

Дорогие Мария Иосифовна и Александр Ильич!

Самыми высшими почестями, которые оказал Тбилиси Зине с детьми, были приглашение к Вам, прием у Вас, цветы, проводы и Ваши подарки. Несказанное спасибо Вам за все! Стасик сам, своими силами прокладывает дорогу к Вашим сердцам, и я рад, что он идет по пути, по которому и я сделал когда-то несколько шагов, и что он увидел мир, навсегда меня сведший с ума, и пережил нечто подобное моему восхищению.

Но как попали к Вам Зина и Лена?! Я всегда боялся Вас, Шаншиашвили. Любовь, уважение, признание, все-все, что я к Вам питал, всегда перевешивала моя робость перед Вами, робость, которую внушает взгляд Ваших юношеских светлых глаз.

Этот взгляд напоминает глаза некоторых греческих божеств, которые и у них всегда резко моложе всех остальных черт их лица и всей их формы, — моложе, потому что в этих глазах именно и сосредоточено их бессмертие.

Так и Ваш взгляд. Помню, всегда, что бы ни творилось кругом, что бы ни говорили я, другие, и даже Вы сами, взгляд Ваших светлых (голубых, кажется, или серых) глаз бывал всегда отделим ото всего совершающегося, всегда держался в стороне и был всего моложе, был особого мнения, оставаясь Вашим тайным последним словом, снисходительно-сдержанным, молчаливым. И вселял робость.

Я без конца польщен лаской, которую М. И. и Вы оказали Зине, и не знаю, что придумать, чтобы выразить и доказать Вам мою преданность и радость.



Будьте долго-долго здоровы и счастливы, как сейчас, и какими Вас избирают Зинины рассказы.

Всего лучшего всем Вашим.

Ваш Б. Пастернак».



Мы с волнением слушали на съезде доклад Алексея Максимовича Горького, сознавая всю важность и значимость происходящего события.

В докладе Горького и в других выступлениях были четко определены задачи и пути развития советской литературы, разработаны основные проблемы социалистического реализма. Съезд продемонстрировал все многообразие многонациональной советской литературы, ее достижения, ее передовой характер и неуклонно растущий во всем мире авторитет.

Доклад о развитии грузинской литературы делал тогдашний председатель грузинского отделения Союза писателей М. Торошелидзе. Из его рассказов мы знали, что в первом варианте доклада, написанного с пролеткультовских позиций, получило отражение небрежное отношение к классическому наследию. В нем не были отмечены выдающиеся достижения многовековой истории грузинской литературы, не упоминались даже имена ее великих деятелей — Шота Руставели, Николоза Бараташвили, Ильи Чавчавадзе. Незадолго до съезда после резкой и справедливой критики доклад был написан заново.

В день открытия съезда Колонный зал выглядел торжественно и нарядно. Стены и колонны его украшали портреты выдающихся деятелей литературы всех веков и народов. Но среди них мы не обнаружили портретов Шота Руставели и Тараса Шевченко. Но после выступления Малакия Торошелидзе оплошность оформителей зала была исправлена мгновенно.

Судя по реакции зала и разговорам в кулуарах, доклад грузинской делегации произвел большое впечатление, имел резонанс.

С замечательной речью выступил на съезде Тициан Табидзе, который говорил о развитии новой культуры, о высоком назначении советской поэзии.

Алексей Максимович был очень внимателен ко всем писателям, приехавшим из братских республик, и мы, грузинские литераторы, сполна ощутили его теплое, чуткое отношение к нам. Особенно это проявилось, когда Горький пригласил небольшую группу грузинских писателей к себе и на этой встрече подробно расспрашивал о творческих планах, литературных и житейских делах каждого из нас.

На съезде особое внимание было заострено на проблеме создания героя современности. Показать человека новой социалистической формации, раскрыть его сущность — одна из важнейших задач, стоящих перед писателями. Даже если он еще не очень отчетливо вырисовывается в жизни, писатели обязаны заглянуть в завтрашний день и показать человека таким, каким его формирует наша действительность. Это необходимо для того, чтобы литературный герой помогал воспитывать, растить новые замечательные поколения советских людей.

В преддверии IV съезда писателей проблема героя нашего времени стоит с неменьшей остротой, чем тридцать три года назад. Но мы рассматриваем ее по-новому, с позиций современности, с высоты прожитых советским государством пятидесяти лет.

О чем говорить! В ту пору в стремительном росте всего нового, в гигантском размахе социалистического строительства нам трудно было взглянуть в происходящее широко раскрытыми глазами, как трудно бывает смотреть на свет при слепящем ярком солнце. Все восприни-

малось в ореоле необычайной торжественности, романтической приподнятости. Теперь мы уже способны оценивать наши неизмеримо возросшие достижения куда спокойнее, трезвее, разумнее. И сейчас с чувством особой ответственности писатели должны относиться к раскрытию образа современного человека, не обеднять его, а показывать во всех психологических переплетениях сложность и тонкость его натуры, силу и величие его характера. Мы чувствуем себя уже достаточно сильными для того, чтобы наряду с созданием образов положительных героев бичевать те уродливые явления, которые мешают нам строить коммунистическое завтра. Мы должны рассказать о них так правдиво и талантливо, чтобы вызвать гнев и негодование нашей общественности, призвать ее к борьбе со всевозможными извращениями, еще имеющими место в нашей действительности.

Я считаю, что для этого мы имеем достаточно сил. Сейчас уверенно встало на ноги новое литературное поколение. У его представителей свой определенный почерк в литературе, свое лицо, свой сложившийся и окрепший голос. В поэзии это — Реваз Маргиани, Иосиф Нонешвили, Хута Бериулава, Мухран Мачавариани, Теймураз Джангулашвили, братья Отар и Тамаз Чиладзе, Жансуг Чарквиани и многие другие — всех не перечислишь. В прозе — Нодар Думбадзе, Реваз Джапаридзе. В критике — Гурам Асатиани, Нодар Чхеидзе, Коба Имедашвили.

Все они выросли в годы советской действительности, ею воспитаны и подготовлены к сознательной деятельности. Они не испытали тех трудностей, которые выпали на долю нашего поколения, шагнувшего из мрака дореволюционного времени в бурную эпоху социализма. Но наше сегодня накладывает на всех литераторов особую ответственность, предъявляет особые требования, заставляет мыслить иными масштабами и категориями.

## ВЫХОД НА ШИРОКУЮ АРЕНУ

От Первого Всесоюзного съезда писателей сохранилось впечатление особой торжественности, грандиозности и огромной масштабности события. Впервые писатели всей страны съехались в Москву, собравшись единой семьей. Готовились к съезду заблаговременно, хотя далеко не вся писательская общественность была настроена оптимистически, полагая, что съезд не сможет разрешить всех насущных проблем, волнующих писателей.

И, как выяснилось на съезде, такое настроение владело не только отдельными грузинскими писателями — оно имело место и среди других деятелей литературы нашей страны.

Даже А. М. Горький нашел нужным отметить в своей заключительной речи на съезде, что «до съезда и в начале его некоторые и даже многие литераторы не понимали смысла организации съезда. «Зачем он? — спрашивали эти люди. — Поговорим, разойдемся, и все останется таким, как было». В речи Горького прозвучала суровая отповедь равнодушию этих людей к общественной жизни писателей.

Первые же заседания съезда, первые доклады и выступления А. А. Жданова, А. М. Горького, представителей республиканских отделений Союза писателей опрокинули все сомнения, продемонстрировав чрез-



В военные годы многие писатели работали во фронтовой печати, активно помогали ковать победу над врагом. Фронтовой газете «Вперед за Родину!» определенно повезло. В ее редакции работали запечатленные на этом снимке писатели (слева направо); Д. Шенгелая, В. Эсаиашвили, И. Мосашвили, А. Квахадзе, С. Чиковани, И. Сельвинский, К. Лордкипанидзе, Н. Агишвили.

вычайно большое значение этого съезда не только для всей советской литературы, но и для литератур всех народов и стран. Я сейчас имею в виду не столько конкретную разработку проблем социалистического реализма и устав Союза советских писателей, принятый на этом съезде, сколько тесную сплоченность писателей, взаимоузнавание, укрепление связей русских писателей с писателями национальных республик, единение братских литератур.

Когда доклад делал председатель грузинского отделения Союза писателей М. Торошелидзе, по напряженному вниманию зала мы поняли, что замечательные традиции, которыми так сильна современная грузинская литература, заложенные еще на заре мировой цивилизации, — в V веке н. э., ее богатейшая история были для большинства настоящим открытием.

Таким же откровением была и великолепная грузинская поэзия, прозвучавшая на специально организованном вечере сразу же по окончании съезда. В этом вечере грузинской поэзии участвовали не только поэты Грузии, читавшие свои стихи, но и их переводчики — выдающиеся русские поэты Н. Тихонов, Б. Пастернак и другие, познакомившие аудиторию с переводами стихотворений грузинских поэтов на русский язык, выступали В. Шкловский, В. Гольцев, критик Д. Мирский — большие, верные друзья и поклонники грузинской литературы. Мирский призывал поэтов учиться у грузинской поэзии конкретности, умению поднимать самые прозаические вещи до высот подлинной поэзии.

Этот вечер завершился шумным и торжественным банкетом, на котором тоже было высказано много восторженных слов в адрес грузинской поэзии. Такое признание и успех, которые ощутили грузинские литераторы на съезде, очень подбодрили нас, дали нам право чувствовать себя именинниками. Возможно, такие же чувства, такой же подъем испытывали тогда и все остальные делегации братских литератур — и как раз в этом состояла огромная заслуга первого писательского съезда.

Съезд наглядно показал, каких огромных успехов добились в культурном развитии те народы, которые до революции не имели не только своей литературы, но даже и письменности.

На мой взгляд, еще одной важнейшей особенностью этого съезда было то, что благодаря нему у многонациональной советской литературы появилась всемирная аудитория.

Было такое ощущение, будто все, что звучало с трибуны съезда, — звучало для всего мира. В зале сидели представители прогрессивных литератур почти всех стран, но кроме того все происходящее на съезде было яркой демонстрацией возросшего авторитета нашей литературы, мирового значения ее успехов, укрепления интернациональных связей.

В дни съезда группа грузинских писателей была приглашена в гости к А. М. Горькому. Кроме того, вся грузинская делегация была на приеме у секретаря ВЦИКа А. С. Енукидзе, где горячо обсуждались волновавшие тогда всех писателей вопросы развития грузинского литературного языка, влияния на него газеты, много говорилось о грузинской журналистике, ее успехах и перспективах.

Память о съезде дорога еще бесчисленными встречами с близкими друзьями грузинских литераторов — А. Фадеевым, С. Третьяковым, В. Шкловским, Н. Тихоновым, Б. Пастернаком. Незабываемым был вечер у Е. Г. Лундберга и его супруги — переводчицы Елены Гогоберидзе (все мы ее тогда называли Лелечкой); встречу у нее поистине можно было назвать поэтической ночью. Никто не заметил, как в комнату

проник рассвет — всю ночь напролет приглашенные сюда поэты читали стихи.

Много времени в дни съезда я провел в кругу своих армянских друзей — Егише Чаренца (мы питали друг к другу особые симпатии и необычайно теплые чувства), Аветика Исаакяна, Дереника Демирчяна.

Москва со всеми ее соблазнами — театрами, концертными залами, музеями, выставками — нас буквально захватила.

Я и Ираклий Абашидзе пропадали в букинистических магазинах; как искатели кладов, мы возбужденно и восторженно ворошили на полках редкие книги; утолив свой книжный голод, мы покидали магазины с огромными связками ценных томов.

В ту пору на всем лежала печать огромного размаха социалистического строительства. Государство ощутимо крепло, росло, поднималось к небывалым высотам. Писатели тоже были мобилизованы на эту огромную стройку, и вся их деятельность была проникнута революционным пафосом, ощущением грандиозности свершаемых дел.

Поэтому всякий интерес к прошлому, к древности, к старине вызывал тогда неодобрение, воспринимался как чуждость.

И когда на Арбате я встретил шедшего с большой старинной картиной под мышкой поэта Липскерова, уже почти ослепшего, но еще живущего в мире красок и цветовых ощущений живописи, счастливого и гордого своей находкой, я воспринял это как доброе предзнаменование, хотя сам по себе факт этот был глубоко трагичен. В буднях строек социализма нельзя было отказываться от истории. А в ту пору как раз и намечался этот крутой поворот в отношении к наследию, к замечательным реликвиям и памятникам прошлого.

Сейчас, в преддверии IV съезда писателей СССР, меня часто спрашивают, чего я жду от предстоящего съезда? Мне кажется в корне неверной постановка такого вопроса, поскольку в нем заложено пассивное отношение к происходящему. Не писатели должны ждать от съезда каких-то невероятных чудес, а съезд должен ждать от писателей серьезного, вдумчивого отношения ко всему, что происходит сегодня в нашей стране, на пятидесятом году ее существования. Нужны поиски, нужна ответственность, нужна большая напряженная работа, чтобы каждый из нас, писателей, пришел к своему съезду нагруженным идеями, интересными свершениями, проблемами, которые и станут предметом обсуждения на съезде.

Меня лично сейчас волнует и огорчает несоответствие моих знаний и опыта, накопленных в течение всей жизни, и силами, которых год от года становится все меньше. Мне бы хотелось рассказать об интереснейших достижениях нашей республики — об ИнгуриГЭС и о тбилисском метро.

Становится больно, когда сознаешь, что осталось немного людей того поколения, которое может сравнить, что было с Грузией до революции и что стало теперь. Ведь сейчас кто бы ни попал в любое село, расположенное на Колхидской низменности, не увидит в нем ничего особенного. Село, как село, каких много — тысячи, десятки тысяч. И очень немногие знают, чего стоит это чудо, возникшее на осушенных болотах не по мановению руки Василисы Прекрасной, а усилиями и потом героев Колхидстроя.

А разве давно было то время, когда Грузия — страна большой и древней культуры, с сильной своими знаниями и традициями интеллигенцией, не могла найти ей применения — не хватало точек приложения для талантливых и умных людей. Тогда грузинская интеллигенция

работала либо на литературном поприще, либо на революцию. Сейчас трудно назвать такую область науки, культуры, искусства в Грузии, которая не развернулась бы во всю мощь в годы Советской власти и не привлекла целую армию специалистов.

Взять хотя бы только научно-исследовательские институты новейших и сложнейших областей науки — кибернетики, электроники, не говоря уже об университете, Академии художеств, консерватории — да разве все перечислишь?

И писатель, который, не ощущает этой напряженности пульса сегодняшней жизни, не осознает значения взятых нашей страной высот, — не писатель. Но в нынешнее время не обойдешься только восторгами, романтической приподнятостью. Жизнь, действительность, человеческие характеры должны исследоваться скрупулезно и мудро.

У меня сейчас пока еще на письменном столе роман о Пиросмани, работа над которым завершится по моим планам к осени; но я уже думаю о новом произведении, в котором мне хочется раскрыть подлинный крестьянский характер, его психологию. По замыслу это будет драматическое произведение.

Мне хочется, чтобы съезд был строго деловым, без парадности и шумной торжественности. Эти условия продиктованы современной ситуацией, нашим сегодняшним образом жизни.

## Песнь Мекки

Из архива писателя

У нас, писателей, не существует двух мнений о романе Константина Лордкипанидзе «Долой кукурузную республику». Это по-настоящему хорошее произведение. Само собой понятно, что такая оценка вытекает из художественных достоинств, присущих роману К. Лордкипанидзе.

Докладчик тов. Бенито Буачидзе подробно и хорошо говорил о социально-идейном звучании романа. Он сказал, что произведение К. Лордкипанидзе выдержано и с политической точки зрения.

Стенограмма выступления Л. Киачели в 1934 году на обсуждении первой части романа К. Лордкипанидзе «Заря Колхиды», которая называлась «Долой кукурузную республику». На русском языке печатается впервые.

О художественных достоинствах романа коротко, но прекрасно говорил Михаил Джавахишвили.

Мне же остается только поделиться некоторыми соображениями, которые возникли у меня при чтении романа «Долой кукурузную республику».

Я с удовольствием читал эту книгу и все время ловил себя на мысли, что К. Лордкипанидзе избегает привычной структуры композиции, оригинально, по-своему развивая сюжет. Многие из нас непременно поставят это в заслугу автору романа. Со своей стороны я приветствую такой эксперимент — ведь он подразумевает и прокладывает новые пути создания романа.

К. Лордкипанидзе не строит свое произведение на захватывающих дыхании сюжетных ходах. И то, что он одержал



На снимке: К. Лордкипанидзе, Л. Киачели, С. Чиковани, П. Чхиквадзе, В. Гаприндашвили.

такую победу, говорит о большом мастерстве писателя.

Меня больше всего заинтересовал образ Меки. Этот батрак является главным героем первой книги, наверно, он останется главным действующим лицом и всего романа.

Вначале Меки оставляет впечатление забитого, странного и даже жалкого человека. Но затем и автор и его герой уклоняются от намеченного ранее пути. Мне подумалось, а, может, оно так и есть, что Меки предстал перед нами в последних главах романа не таким, каким задумал его, садясь за письменный стол, автор. Такое нередко случается с писателем. В процессе работы тип часто меняется, и первичный замысел автора вынужден подчиниться логике материала.

При знакомстве с Меки мы узнаем о его любви к дочери Барнаба — Талико. Эта тщательно скрываемая любовь толкает забитого батрака на благородные поступки. Но вдруг интрига обрывается, пряча концы всей любовной нити.

Мне кажется, что эта линия романа обрывается неестественно. Было бы интересно проследить за развитием чувств Меки, к тому же это могло придать повествованию драматический накал, что вовсе не лишне для романа.

Я думаю, К. Лордкипанидзе отступил не из страха перед трудностями, которые возникают при раскрытии драматических столкновений, — пролетарские критики непременно упрекнули бы автора в том, что он будто бы выдвигает на передний план любовный момент, увлекается психологизмом, и обвинили бы еще бог весть в каких грехах.

Историю любви автор мог сделать стержнем, на который наматывались бы большие социальные сдвиги. В конечном счете мы не сможем оставить в стороне художественное воплощение душевных движений человека.

Некоторые думают, что все это — старо и непригодно для современного романа. Но разве дело только в сюжете. Главное — глубина художественного постижения, широкий охват явления и поднятие его на высокую общественную ступень. В конце концов образы людей рисуют эпоху, и социальные явления не существуют вне человека.

Возможно, тема любви Меки несколько и затухала бы социальную сторону романа, однако не исключено, что

она могла придать ей, социальной стороне, еще большее напряжение. Тут уж все зависит от писателя.

Любовная интрига, как таковая, не имеет большого значения, но если ее социально углубить и художественно обострить, тогда она вырастает из одних простой интриги и пробуждает в душе человека величайшие эмоции.

Мне кажется, прерванная любовь Меки не оставит в покое Константина Лордкипанидзе, он еще вернется к ней во второй книге романа, конечно, если не предпочтет идти сравнительно более легкой дорогой.

В любви Меки угадывается большая человеческая трагедия, пути которой ведут писателя к началу начал подлинного, большого искусства. По-моему, окончательная победа ждет нашего автора именно в этом направлении.

Первая книга романа свидетельствует о том, что К. Лордкипанидзе обладает замечательным художественным видением, острым глазом. Некоторые картины романа восхитительны. Писатель досконально изучил новую деревню и людей. Видно, он не терял зря времени и с пользой для себя жил долгое время в деревне, приобрел большой опыт. Удивительно хороши и последние главы книги. Особенно песнь Меки.

Меки не умеет петь, и голоса у него нет никакого. Но радость победы так велика, что он поет — словно приходят и умение и голос. Это прекрасно! И мне не хочется верить, будто радость Меки вызвана только «социальной» победой. Я догадываюсь о происходящем в душе Меки и знаю — хотя бы одна из причин его радости в том, что к нему вернулась прерванная было любовь. Правда, Меки это скрывает. И понятно почему. Но тем прекраснее его песня. В ней как бы раскрывается Меки, он исключительно человек. Почему же автор скрывает это? Разве мог Меки отказаться от того нежнейшего чувства, которое обругали и затоптали в грязь вместе с его человеческим достоинством?

Может, автор намеренно не заострил наше внимание именно на этой мотивировке песни Меки?

Во всяком случае, я должен чистосердечно признаться, что сцена радости Меки — большая победа К. Лордкипанидзе как художника. И я поздравляю его с этой победой.



## Панорама поэзии

Когда Леонид Мартынов одним из первых среди русских поэтов высказал в стихах, ставших хрестоматийными, свое вполне оправдавшееся предчувствие — «дело пахнет искусством, человечеству хочется песен!», когда Борис Пастернак в своем волшебном посвящении Ладо Гудиашвили еще раз вернулся к любимому образу грозы, чтобы на этот раз вложить в него свои самые сокровенные надежды и непреклонную веру в неизбежность нового преображения жизни:

Пронесшейся грозой полон воздух,  
Все ожило, все дышит, как в раю.  
Всем роспуском кистей лиловогроздых  
Сирень вбирает свежести струю.  
Все живо переменею погоды,  
Дождь заливает кровель желоба,  
Но все яснее неба переходы  
И высь за темной тучей голуба;

когда вся наша страна, ничего не сбросив с обеих чаш весов Памяти и Истории, гордясь великим добром, содеянным ею, и горько проклиная зло, ей навязанное, преисполнилась решимости множить это добро и выжечь до конца все посевы зла, — грузинская поэзия оказалась духовно подготовленной к новой миссии, выпавшей на ее долю, дабы и из ее «красильни» вышли преображенными «жизнь, действительность и быль» наших дней. Одним из самых первых во всей нашей необъятной стране поднял голос поэт поистине медиумической чуткости и отзывчивости — Галактион Табидзе, не изменив и на этот раз своей романтической манере пророчествования и высокой декламации, исполненной артистизма и грации:

Всему той памятной весною  
Настал предел —  
Разливу тостов, злomu зною  
Недобрых дел.  
Остался ли малейший повод  
Их вспомянуть?  
Отхлынули, нахлынув, воды,  
Оседа муть.  
Да будет ясен, современник,  
Твой мирный дом!  
Какне бури прогремели,  
И грянул гром,  
Но кто из нас отыщет повод  
Их вспомянуть?  
Отхлынули, нахлынув, воды,  
Оседа муть.

Мы знакомим читателя с несколько необычной подборкой стихов поэтов Советской Грузии. Подборку эту можно было бы назвать — «Стихи с комментариями». В роли же переводчика и одновременно комментатора стихов выступает критик Георгий Маргвелашвили, который рассказывает о переведенных им стихах под углом зрения тех задач, которые, по его мнению, в числе других решаются ныне поэтами Грузии.

И он же обратился к условному, хотя и названному по имени, адресату с мудрым советом, имея в виду разоблаченных правосудием и канувших в лету недавних рыцарей на час, врагов народа, силой утверждавших за собою честь называться друзьями и даже отцами народа:

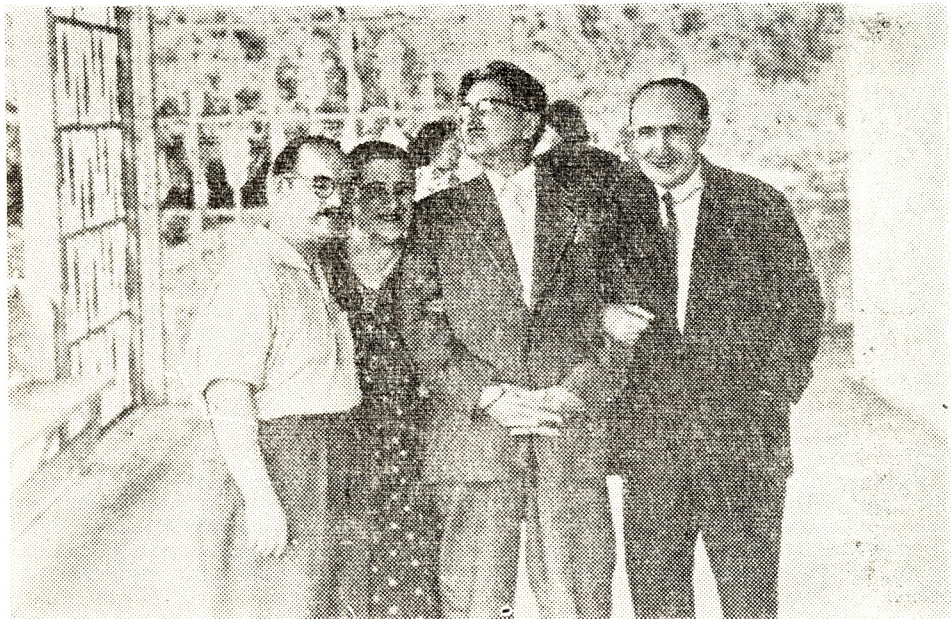
Мой Георгий! Несть числа поныне  
Мастерам заботы о народе.  
Ты же верь всегда одной святыне,  
А не этой барственной породе.

Георгий Леонидзе — поэт могучего жизнелюбия, всегда с великой искренностью славивший победы и праздничные торжества своей страны, никогда не утрачивавший глубоко присущего ему исторического оптимизма, считал нужным обнародовать стихи, предвосхищавшие приведенные нами выше строфы его самого близкого и кровного русского друга:

В небе первые признаки грома  
И не скрывает красы миндаль.  
Радость моя светла и огромна —  
Пятится злая зимняя даль.  
В небе первые признаки грома,  
Небо рвет на себе облака,  
Чтоб свершить навсегда, на века  
Волю души своей неумной.

И если продолжить ряд удивительных совпадений родственных образов, рождавшихся независимо друг от друга, но в явной и естественной зависимости от своего первоисточника — жизни, самосознания и решимости страны и народа, — то как не вспомнить и стихи Ираклия Абашидзе, которыми он мог бы предварить все лучшее, им самим вслед за этим созданное:

Гром загремел, и небо — мигом в клочья.  
И облака — как оползни веков.  
Я знаю, оживают этой ночью  
И ноют раны у фронтовиков.  
И мы, поэты, словно ветераны,  
Закончившие праведный поход,  
Вчерашние залечиваем раны  
В предчувствии погод и непогод.



Их четверо: Симон Чиковани, Леонид Леонов, Евфимия Леонидзе, Георгий Маргвелашвили.

Но ощущение вчерашних ран в дни, когда «все жило переменою погоды», не могло не продиктовать поэту благородные в своей горькой суровости стихи о друзьях, о старшем друге, павшем жертвой низкой цинической лжи и мерзвостного поклепа, которому как раз в те дни вернула партия честное и славное имя советского поэта, вернула и право его стихам, его поэтическому труду «вливаться в труд его республики». Так родилось знаменитое посвящение Ираклия Абашидзе Паоло Яшвили:

Мне эту муку — дань былой печали —  
Хотелось молча взять в небытие.  
Сжав зубы, к Стиксу я решил отчалить,  
Но сдался все же натиску ее.  
И вот — пишу, зову покой душевный,  
Угмонить пытаюсь дикий рой  
Воспоминаний, но их голос гневный,  
Как наваждение — все за мной, за мной...

...О, нет, не рок был твой слепой каратель.  
Не в схватке нови с былью — корень зла.  
Ты пал в тот год, когда над небом Картли  
Тень Каина, как туча, залегла.  
На двадцать лет убитый, пригвожденный,  
Ты двадцать лет маячил предо мной,  
Чтобы в бессмертье ныне возрожденный,  
Твой стих продолжил подвиг твой земной.

Но, разумеется, грузинская поэзия, как и вся советская поэзия, не замкнулась в сфере печальных или светлых воспоминаний, предчувствий и надежд, пророчеств и заклинаний, она сама стала жить новой жизнью, лишний раз доказав истину, столь четко и мудро высказанную недавно Симоном Чиковани в своем интервью «Литературной газете», которому, увы, суждено было стать предсмертным: «Поэзия всегда является чудесным результатом непростой, напряженной, драматической встречи поэта с миром, искрой, высеченной при их столкновении, независимо от того, гармония или конфликт связывают поэта с миром. Лишь равнодушные не способны высечь эту искру, то есть не способны к зачатию стиха».

Какая же искра была высечена советской, в том числе и грузинской поэзией, при встрече с обновляющимся миром? Тут можно говорить о характерной черте нового этапа развития нашей поэзии — это новая, взятая поэзией, высота человечности, новый особенно яркий и пронзительный свет гуманизма, который осветил и патристические стихи, и социально-гражданскую лирику, и философскую поэзию, и лирическую исповедь, и любовные песни, конечно, далеко не всех, но все же многих и самых разных поэтов нашей страны. Тут поэзия поистине не была заказана ни одна тема — современная или историческая, трагическая или сатирическая, интимная или, как говорится, космическая. Вот Анна Каландадзе, самый приход которой в грузинскую поэзию был пророческим предвестием и подлинным знаменьем грядущих перемен, в годину наступившего прилива этой новизны обратилась к теме, казалось бы, исторической, но до предела, до трепета, до невооруженным глазом заметной пульсации стиха, наполненной нынешними страстями и раздумьями. Она вспомнила суровую эпитафию, написанную себе же одним из самых гуманных и мудрых грузинских монархов глубокой древности, приговор, возможно, вполне несправедливый по тем временам, но звучащий мудро и благородно в своей исторической и философской провиденциальности, и прокомментировала этот приговор в стихотворении, в первой и последней строфах которого перефразировала монолог царя-поэта, вклинив в стихи и свое к нему обращение:

Молю вас, поprite безжалостно грудь самодержца!  
Даруйте мне милость!  
Внемлите веленью Давидова сердца —  
Оно истомилось!  
Могильные плиты топчите, корчуйте  
С лозой виноградной!..  
— О царь! За какие грехи и причуды  
Ты требуешь кары и просишь награды?  
С родною землею ты сросся и свылся

И в счастье, и в бедах,  
Раздвинув пределы ее от дубрав  
Никопсийских

До высей Дербента.  
Иль это смиренье властей придержащих,  
Что хуже гордыни?  
И если ты грешен, мой царственный пращур,  
Что делать отныне  
Всем истинно грешным, утратившим  
трезвость ума и спокойствие сердца.  
Мятущимся тщетно?..  
— Молю вас, поprite безжалостно грудь  
самодержца,  
Молю вас об этом...



Это мужественные стихи. Но Анна Каландадзе никогда не прикрывалась заимствованным щитом мужской мужественности. Ее бесстрашие всегда оставалось женственным. Поэтому оно сказалось во всех ее, самых женских и обнаженно-исповедальных, беззащитных в своей доверительности стихах. Ведь это ее же строки:

Не загорайся слишком близко  
Передрассветная звезда,  
Чтоб жарким взглядом василиска  
Не обожгла меня беда.  
Ты видишь, в страхе и смятеньи  
К тебе я руки подняла,  
И пали на воду две тени,  
Как два подрезанных крыла.  
Не говори, что он исполнен  
Особых таинств — этот час,  
И светлое мое безволье  
Не попирай, ожесточась.  
Не завлекай меня надеждой,  
Не обволакивай мечтой,  
Оставь меня опять невеждой,  
Не ведающей тайны той.

С поистине потрясающей силой прозвучала автобиографическая исповедь в последних стихах Симона Чиковани, который так умел сдерживаться и вводить в берега «избалованной музыки прилив и отлив», так не любил выставлять напоказ в слишком прозрачной обнаженности свои тревоги и смятенья и лишь в бумагах которого, посмертно, удалось обнаружить эти строки:

Недобрый март за мною увязался  
И все мои расхитил адреса.  
Пронесся в диком вихре свистопляса  
И заглушил родные голоса.  
Поплыли дни, как паруса без ветра,  
Я еле различаю берега,  
Безадресные комкаю конверты,  
Но голос друга затерялся где-то  
И заблудилась в памяти строка.  
Видать, меня в беде сам черт попутал —  
Ищу черновиков своих следы,  
А март все мчит за мной тропой попутной  
В раскатах грома, в сполохах беды.  
А мне какой тропею горе мыкать?  
Как уберечь в себе бесценный дар?  
Как передать бродягам и каликам  
Остаток дней моих и сердца жар?  
А март все норовит вцепиться в горло,  
Хоть сам я далеко не из тихонь.  
Оседа гарь на дно души прогорклой...  
О, значит, в ней еще горит огонь!

Стихотворение это написано за месяц до смерти слепым и гибнущим человеком. Но больше всего в нем потрясает продолженный в неожиданнейшей



Стоят на страже

хлеба,  
соли  
и этой звонкой колыбели,

Не дав поэту замечаться...  
Сегодня праздник в моем доме!  
И в доме моего соседа!  
И в доме моего народа!  
Веселой поступью студента,  
Чеканной поступью солдата,  
Парящей поступью поэта,  
Напевы громкие горлана,  
Шагает по свету надежда,  
Отправив по миру войну.



В этих стихах есть элемент прекраснотушия. Война, увы, еще не пущена по миру, не нищенствует и не побирается, а с дерзостью гангстера вламывается в мирные дома. Но стихи эти даже в некоторой своей наивности продиктованы чувством, не вызывающим сомнений в своей чистоте и убежденности.

Я совершил перед вами почти кинематографический пробег по грузинской поэзии последних лет, выхватывая крупным планом порою даже для меня самого случайно отобранные поэтические фрагменты. Такую панораму последнего, новейшего этапа грузинской советской поэзии, пронизывает, однако, общий для большинства из нас взгляд на проблему отражения в нашей литературе той новизны, которую несет сама жизнь. Разумеется, эту задачу можно было решить и на примере других поэтов. Более того, мотивы творчества того или иного поэта, которые выделены в этой панораме, подчас не относятся к числу так называемых масштабных тем, отражающих большие эпические (горизонтально расположенные, что ли) пласты жизни народа. Эти мотивы относятся преимущественно к сфере нравственной первоосновы творчества и отражают напряженную духовную жизнь поэтов очень разного характера. Но именно как таковые, эти мотивы «самовыражения» как раз и выражают через себя время, ибо не только во времена Гейне противоречия, раздражающие мир, проходили и через сердца поэтов.

Хорошая погода сейчас в советской поэзии, в советской литературе. И в преддверии писательского съезда я хочу пожелать всем нам быть достойными этой хорошей погоды, не давая прокрасться к себе душевной лени и равнодушию, благоденствующей самоуспокоенности, ибо равнодушие никогда не ведет к гармонии, оно всегда кончается крахом. И да будем мы все вправе, положи руку на сердце, повторить слова поэта:

...Не дай мне бог бесстыдства пред листом  
Бумаги, беззащитной предо мною...

## О судьбах книг

### ЗАМЕТКИ КНИГОЛЮБА

Книга с дарственной надписью автора переходит непосредственно к избранному им читателю и становится рядом с другими книгами разных судеб и возрастов. Книгам с автографами — больше внимания и почета. Ведь они хранят память об интересной встрече с автором, о коротком или долгом разговоре с ним, а то и о каком-либо случае в жизни.

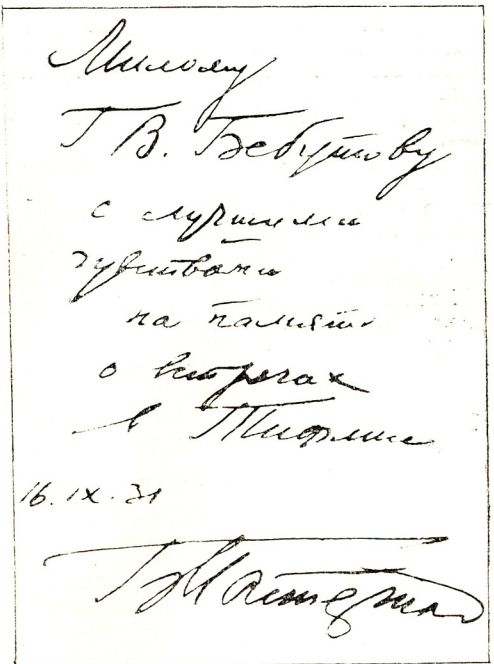
Александр Фадеев подарил свою книгу «Последний из Удэге» Александру Кутатели с надписью: «Дорогому Саше Кутатели — в замечательный день нашего разговора о Толстом, о Веселовском, о жизненной правде, которая поправила многих талантливых людей прошлого и настоящего времени, — дарю эту свою несовершенно книгу с искренней дружбой».

Надпись здесь только упоминает об интересной беседе, о ее направлении, но не передает содержания. Это сделал уже сам А. Кутатели, много лет спустя, написав страничку воспоминаний для сборника «Летопись дружбы грузинского и русского народов», и картина встречи двух писателей восстановилась. А сколько дарственных надписей, оставшихся необъясненными, порой загадочными или выражающими отдельную мысль, настроение, пожелание, с которых только можно было бы начинать интересное повествование...

Под приведенным автографом Фадеева дата: «30 декабря 1937 г.», а вот его роман «Разгром», им же надписанный на следующий день, 31 декабря: «Дорогому Симону Чиковани на добрую память о замечательных руставелевских днях в Тбилиси — с дружеским приветом». Мысленно положив рядом две книги, подаренные автором своим грузинским друзьям, мы как бы приобщаемся к кругу знакомств, встреч и бесед А. Фадеева в те далекие юбилейные дни в Тбилиси. Если же учесть, что Симону Чиковани уже тогда принадлежала интересная исследовательская статья о поэме Руставели, то можно представить, как много мог почерпнуть для себя Фадеев из бесед с Чиковани.

Борис Пастернак, впервые приехавший в Грузию в июле 1931 года, после

двух месяцев пребывания в Тбилиси и на берегу Черного моря, написал 19 сентября на своей книжке «Спекторский», недавно лобезно показанной мне Марикой Николаевной Чиковани: «Милому Семену Ивановичу Чиковани в Кубулетах в залог будущих дружеских встреч». Так на много лет вперед предугадал Борис Леонидович свою крепкую дружбу с Симоном Чиковани.



Двумя днями раньше, 16 сентября, Б. Л. Пастернак подарил мне в Тбилиси ту же книжку — «Спекторский» «с лучшими чувствами на память о встречах в Тифлисе». Так два экземпляра одной книги могут в какой-то степени помочь биографу поэта в датировании его поездок по Грузии. Это только одна сторона вопроса. А сколько интересного за каждой строчкой дарственной надписи... Симон Чиковани набросал на листке план воспоминаний о встречах с Б. Пастернаком, но успел только начать их.

Андрей Белый подарил мне свою большую книжицу, изданную в 1922 году в Берлине — «Стихи о России», написал ее «на добрую память» и поставил дату нашей встречи: 22 мая 1928 года. Сейчас эта дата дает мне возможность помочь биографам Елише Чаренца установить день его первого, личного, знакомства с Андреем Белым, которого мы посетили вместе.

Я уже много лет бережно храню один номер журнала «Современник», издававшегося Государственным институтом журналистики (книжка первая, январь 1925 года), на обложке которого С. Есенин написал карандашом три двустишия, посвященных А. Пушкину, Э. Багрицкому и В. Катаеву. На одной из страниц этого журнала В. Катаев написал сонет. Позже он дал разъяснение: «По условиям «конкурса» на тему «Пушкин» (под памятником которого мы сидели), каждый из нас должен был написать по сонету. Я, как весьма тренированный в этой форме, быстро накатал «сонет». Есенин же долго слюнил карандаш, потел, сонета у него не вышло и он, наконец написал вышеприведенные стихи. Багрицкий же сказал сонет наизусть».

К двустишиям С. Есенина, переписанным мною с обложки, В. Катаев сделал примечание: «Есенин допустил явную опisku, написал «Быстрицкий», вместо «Багрицкий», так как стихи сочинялись на конкурс со мной и Багрицким, с которым я только что познакомил Есенина».

И вот вывод из надписей на журнале и разъяснений к ним: первая встреча и личное знакомство Есенина с Багрицким относится к ранней осени 1925 года.

Трудно предугадать, какую помощь может оказать литературоведению книга с автографом.

В 1927 году в Тбилиси без обозначения издательства была выпущена книжка: А. Блок. «Неизданные стихи. История одного письма». Этот сборник стихов, статей и материалов был составлен с одной лишь целью — дать читателю неизданное письмо Александра Блока к грузинскому критику и литературоведу Алексею (Али) Арсенишвили. Письмо относится к 1912 году, когда Арсенишвили был студентом. Оно имеет большое значение для биографии поэта. Закачивается письмом строками: «...если Вы любите мои стихи, преодолейте их яд, прочтите в них о будущем». Письмо это вошло потом в собрание сочинений Блока, но одним ли этим письмом исчерпывается история этой переписки? О том, что существовало еще второе, очень короткое письмо Блока к Арсенишвили, которое последний, видимо, не захотел включить в сборник, рассказывает надписав состави-

теля В. Руслова на моем экземпляре. Вот строки второго письма Блока: «29/III 1912. Спасибо за письмо, дорогой Алексей Ильич. Карточка у меня нет, я давно не снимался, а стихотворение вот» (подпись Александра Блока стоит под стихотворением «Maria da Spoleto», воспроизведенном в сборнике с рукописи без предваряющих его строк).

Поскольку речь зашла об А. Блоке, я беру с своих книжных полок «Стихотворения М. Розенгейма», изданные в Петербурге в 1858 году, и который раз всматриваюсь в характерный почерк, в написанную на титульной странице рукой А. Блока строку: «Первое издание», и в подчеркнутые в самой книге некоторые рифмы. А на обороте переплета — запись известного деятеля антикварной книжной торговли Ф. Г. Шилова: «На заглавном листе слова «Первое издание» написаны рукой А. Блока». Пусть это незначительный эпизод, но все же интересно и приятно видеть книгу, побывавшую в руках любимого поэта.

Вначале я оттолкнулся от мысли, что книги бывают разных судеб и возрастов. Чем старше книга с автографом по своему году издания, тем меньше людей — ее современников и, следовательно, тем больше должна она сама помочь в литературных разысканиях о прошлом. Проходят десятилетия, века, а надпись на книге живет, не стирается и не стареет и порой играет важную роль в истории культуры.

В. Б. Шкловский в своей книге «Матвей Комаров житель города Москвы», в книге замечательной и удивительной по изысканиям и находкам, по самому методу исследования, пишет: «Материалами для биографии Комарова могут быть предисловия к его книгам, отдельные указания в самих книгах, посвящения на книгах, объявления и, как мы увидим, надписи на книгах». И, действительно, читатель убеждается, что без всего этого невозможно было бы написать даже краткую биографию Матвея Комарова — интересного писателя XVIII века, вышедшего из народа, о котором более ста лет спустя, в 1906 году, писали: «Обстоятельства жизни его неизвестны».

Каждая книга с дарственной надписью, казалось бы, по воле автора оставнавливает свой выбор на определенном читателе. Между тем известно, что в книжных антиквариатах и в букинистических магазинах систематически появляются книги с автографами. Чаще всего это происходит после смерти владельца книги или при его жизни в силу каких-либо сложных обстоятельств, но так или иначе книга попадает в круговорот, и неизвестно, к какому берегу ее прибьет, кто остановит на ней свой



**В. МАЯКОВСКИЙ.**  
*прекрасному Илье*  
*Давыдовичу*  
*Маяковскому*  
*искренно*  
**ОБЛАКО ВЪ ШТАНАХЪ.**

**ТЕТРАПТИХЪ.**

взор? В большинстве случаев книга, оторвавшаяся от родных полок, снова попадает в заботливые руки книголюба, обретает пристанище, начинает новую жизнь.

Вот, к примеру, путь, пройденный одной книгой. В Москве, в букинистическом магазине продавалась книга В. Маяковского «Облако в штанах». На ней (еще по старой орфографии) дарственная надпись: «Прекрасному Илье Давыдовичу, Маяковский искренно». Эту книгу купил академик Академии

наук Грузинской ССР Н. Н. Кецохели и затем передал в дар Дому-музею В. В. Маяковского на родине поэта в бывшем селе Багдади. Так книга пропутешествовала из Москвы до Тбилиси, а затем и до районного центра Маяковский, и сейчас занимает свое место в музейной экспозиции под «багдадскими небесами». Но история этой книги все же остается незавершенной. До сих пор не выяснено, кому она была написана и подарена Маяковским?

А вот другая книга, приобретенная мною во второй половине двадцатых годов в книжном антикварном магазине Шишкова и Климова в Москве (улица Герцена, 22). Это первая книга С. Есенина «Радунница» (Петроград, издание М. В. Аверьянова, 1916 г.). На книге автограф: «Великому писателю Земли Русской Леониду Николаевичу Андрееву от полей рязанских, от хлебных упов старух и молодок. На память сердечную о сохе и понёве. Сергей Есенин. 1916 г. 14 окт. пт.».

Об этом экземпляре С. Есенин упоминает в письме к Л. Н. Андрееву, которого не застал дома: «В квартире Вашей я оставил Вам несколько стихотворений и книгу». В примечаниях к этому письму в пятом томе Собрания сочинений С. Есенина В. Земсков устанавливает, что книга, оставленная в подарок Леониду Андрееву, — «Радунница», и именно хранящийся у меня экземпляр. Как известно после смерти Л. Андреева осенью 1919 года вторая жена писателя вместе с детьми уехала за границу и, возможно, именно тогда или позже и при других обстоя-

*Великому писателю*  
*Земли Русской Леониду*  
*Николаевичу Андрееву*  
*от полей рязанских*  
*от хлебных упов*  
*старух и молодок*  
*На память сердечную*  
*о сохе и понёве*

*Сергей Есенин*

*1916 г. 14 окт.*  
*пт.*





ИНДЕКС  
76117

4 9/48

საქართველო  
ბიბლიოთეკა

